
РЫШАРД
КАПУЦИНСКИЙ

ШАХИНШАХ

БПЛ БИБЛИОТЕКА
ПОЛЬСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



RYSZARD KAPUŚCIŃSKI
SZACHINSZACH

РЫШАРД КАПУЩИНСКИЙ
ШАХИНШАХ



WYDAWNICTWO
UNIwersytetu GDAŃSKIEGO

РЫШАРД КАПУЦИНСКИЙ

ШАХИНШАХ

ПЕРЕВОД ИРИНЫ КИСЕЛЕВОЙ

Projekt okładki i stron tytułowych
Andrzej Taranek

Redakcja, skład i łamanie
Adam Kamiński

Redakcja wersji rosyjskiej
Irina Kisielowa

Książka wydana w nakładzie 200 egzemplarzy
wyłącznie dla celów dydaktycznych, rozpowszechniana tylko
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Publikacja sfinansowana z funduszu Prorektora ds. Nauki
oraz działalności statutowej
Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

© Copyright by estate of Ryszard Kapuściński
© Copyright for russian translation Irina Kisielowa
© Copyright by Uniwersytet Gdański
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ISBN 978-83-7326-493-9

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, tel./fax (58) 523-11-37
<http://wyd.ug.gda.pl>; e-mail: wyd@ug.gda.pl

ШАХИНШАХ

КАРТЫ, ЛИЦА, ЦВЕТОЧНЫЕ ПОЛЯ

Дорогой Боже,
лично я хочу, чтобы не было зла.
Дебби

(«Письма детей Господу Богу», изд-во «Рах», 1978)

Везде такой бардак, будто полиция только что завершила внезапный обыск. Повсюду разбросаны кипы местных и зарубежных газет, спецвыпуски – заголовки крупными буквами:

УЛЕТЕЛ

и большие фотографии пытающегося скрыть эмоции и поражение человека с худым продолговатым лицом с настолько четкими чертами, что, по сути, оно выглядит безразличным. А рядом экземпляры других спецвыпусков, с более поздней датой, где лихорадочно и триумфально сообщается:

ВЕРНУЛСЯ

и ниже, на всю страницу, другая фотография: патриархальное лицо, суровое и неприступное, лицо человека, не выражающего ни малейшего желания что-либо сказать.

(А между этими отъездом и возвращением – такие эмоции, такое противостояние, столько гнева и ужаса, столько огня!)

На каждом шагу – на полу, стульях, журнальном столике, письменном столе – рассыпанные в спешке листы бумаги, обрывки, записи, сделанные настолько небрежно, что мне самому теперь приходится гадать, откуда я выписал фразу: *«он будет соблазнять вас обе-*

щаниями, но не дайте себя одурачить». Кто это сказал? Когда и кому?

А вот, например, красным карандашом на весь лист: «*Обязательно позвонить 64-12-18*» (прошло уже столько времени, что я не могу вспомнить, чей это телефон и почему он был так важен).

Недописанные и неотправленные письма. Дружиче! Можно долго рассказывать о том, что я здесь видел и пережил. Но мне сложно упорядочить впечатления, которые...

Самый большой бардак царит на массивном круглом столе: фотографии разных форматов, магнитофонные кассеты, восьмимиллиметровые любительские пленки, сводки, фотокопии листовок – все свалено в кучу, как на блошином рынке, – полный хаос. А еще плакаты и альбомы, пластинки и книги, купленные, подаренные друзьями – полная хроника недавно ушедшего времени, которое, однако, можно услышать и увидеть: на кинолентах запечатлены плывущие, бушующие реки людей; на кассетах – рыдания муэдзинов, приказы, разговоры, монологи; на снимках – восторженные или иступленные лица.

Сейчас сама мысль о том, что я должен все это привести в порядок (приближается день моего отъезда), вызывает у меня отвращение и безграничную усталость. Честно говоря, когда я останавливаюсь в гостинице – что для меня не редкость, – я люблю, чтобы в комнате царил беспорядок: он создает ощущение какой-то жизни, он – суррогат интимности и тепла, доказательство (иллюзорное, но все же) того, что такое чужое и неудобное место, каким по сути своей является любой номер в гостинице, удалось хотя бы частично покорить и обжить. В тщательно убранной комнате я чувствую себя одиноко и скованно, на меня давят все эти прямые линии, края мебели, плоскости стен, а вся эта бездушная и строгая геометрия, все это кропотливо и скрупулезно продуманное расположение предметов, существующее как бы само по себе, без намека на наше присутствие, просто отталкивают. К счастью, обычно уже через несколько часов в результате моих действий (по сути, бессознательных и являющихся следствием

спешки или лени) весь существовавший до сих пор порядок разрушается и исчезает, вещи начинают жить, перемещаться из одного места в другое, вступать в новые отношения и связи, появляется барочная теснота, а с ней – приветливость и непринужденность. Теперь можно спокойно вздохнуть и расслабиться.

Однако пока я не могу найти в себе достаточно сил, чтобы прикоснуться к чему-либо в комнате, поэтому спускаюсь вниз, где в пустом, мрачном холле четверо молодых людей пьют чай и играют в карты. Они увлечены какой-то сложной игрой, правил которой я так и не понял. Это не бридж и не покер, не «очко» и не «шестьдесят шесть». Они играют одновременно двумя колодами, молча, пока один из них с довольным видом не забирает себе все карты. Потом они тянут жребий, раскладывают на столике десятки карт, о чем-то думают, что-то подсчитывают и ссорятся.

Эти четверо (служащие гостиницы) живут за мой счет, именно я даю им работу, поскольку сейчас я – единственный постоялец. Кроме того, я содержу уборщиц, поваров, официантов, прачек, охранников, садовника и, похоже, еще пару человек вместе с их семьями. Может, они и не умерли бы с голоду, если бы я тянул с оплатой, но на всякий случай стараюсь платить им вовремя.

Еще несколько месяцев назад найти комнату в городе считалось огромной удачей, выигрышем в лотерею. Несмотря на большое количество гостиниц, наплыв народа был такой, что приезжие платили за койки в частных больницах, дабы иметь хоть какую-то крышу над головой. Однако сейчас бизнес свернулся, пришел конец легким деньгам и ошеломительным сделкам, местные предприниматели предусмотрительно спрятались, а заграничные партнеры, бросив все, спешно уехали. Внезапно исчезли туристы, прекратилось всякое движение через границу. Часть гостиниц сторела, часть закрылась или пустует, а в одной партизаны устроили свой штаб. Сегодня город занят собой, ему не нужны чужие, не нужен остальной мир.

Картежники прерывают игру и предлагают мне чай. Здесь пьют только чай или йогурт – никакого кофе

и тем более алкоголя. За употребление спиртного можно получить сорок или даже шестьдесят ударов кнутом, и если наказание приводит в исполнение какой-нибудь широкоплечий верзила (а обычно как раз такие охотнее всего берутся за кнут), то от спины мало что остается. Вот мы и пьем горячий чай, поглядывая в другой конец холла, где под окном стоит телевизор.

На экране появляется Хомейни.

Он говорит, сидя в простом деревянном кресле на сбитом из досок возвышении. Судя по качеству постройки, это одна из площадей бедного района Кума. Кум – небольшой, серый, плоский, невзрачный город в ста пятидесяти километрах к югу от Тегерана, расположенный на пустынной, изнуренной и раскаленной от жары земле. Может показаться, что в этом убийственном климате ничто не располагает к размышлениям и созерцанию, на самом же деле Кум – город религиозного фанатизма, яростной ортодоксии, мистики и воинствующей веры. В нем сосредоточены крупнейшие духовные семинарии, действуют пятьсот мечетей, здесь ведут споры знатоки Корана и блюстители традиций, заседают седовласые аятоллы, и вот отсюда Хомейни управляет страной. Он никогда не уезжает из Кума, не бывает в столице, вообще никуда и ни к кому не ездит.

Раньше он жил с женой и пятью детьми в маленьком домике, стоящем на тесной, пыльной и душной улочке со сточной канавой посреди немощеной проезжей части. Сейчас аятолла переехал в дом дочери; с балкона, выходящего на улицу, Хомейни показывается людям, если собирается толпа (чаще всего это фанатично верующие паломники, путешествующие к святым местам Кума и прежде всего к недоступному для иноверцев гробу Непорочной Фатимы, сестры восьмого имама Резы). Хомейни как аскет питается рисом, йогуртом, фруктами, живет в комнате с голыми стенами и без мебели – только подстилка на полу и гора книг. В этой самой комнате, сидя на покрывале и опираясь о стену, Хомейни принимает гостей (в том числе официальные заграничные делегации). Из окна видны башни мечетей и широкий двор медресе – закрытый мир бирюзовой мозаики, зелено-голубых минаретов, прохлады

и тени. Поток гостей и посетителей не прекращается целыми днями. В перерывах Хомейни уединяется для молитвы или остается у себя, чтобы посвятить время размышлениям, а может – что естественно для восьмидесятилетнего старца, – просто вздремнуть. Входить к нему имеет право только младший сын Ахмед, ставший, как отец, священником. Другой сын, первенец и любимец, погиб при таинственных обстоятельствах. Говорят, он был коварно убит агентами спецслужбы шаха.

На экране телевизора – площадь, заполненная людьми. Серьезные, сосредоточенные лица. С краю, отделенные от мужчин четко очерченной границей, – женщины в чадрах. Солнца нет, все серо, цвет толпы – бурый, а там, где стоят женщины, черный. Хомейни, как всегда, в темной широкой одежде, на голове – черная чалма. Бледное лицо, седая борода. Когда аятолла говорит, руки его покоятся на ручках кресла. Сидит прямо, изредка морщит высокий лоб и хмурит брови, при этом ни одна жилка не дрогнет на решительном, суровом лице человека, чья твердая, нестигаемая воля не знает ни компромиссов, ни, похоже, сомнений. На лице, словно раз и навсегда слепленном, выражающем лишь напряженное внимание и внутреннюю сосредоточенность, одни глаза находятся в постоянном движении. Пронзительный взгляд скользит по морю голов вглубь площади и возвращается к передним рядам, как будто аятолла ищет кого-то конкретного. Голос у него со сплюснутым, однообразным тембром, размеренный и сильный, но лишенный красок и яркости.

– О чем он говорит? – спрашиваю я картежников, когда Хомейни на миг замолкает и обдумывает следующую фразу.

– Он говорит, что мы должны сохранить достоинство, – отвечает один из них.

Оператор переводит объектив камеры на крыши близлежащих домов, где стоят вооруженные автоматами молодые люди в клетчатых платках.

– А сейчас? – снова спрашиваю я, потому что не понимаю фарси, на котором говорит аятолла.

– Он говорит, что в нашей стране не должно быть места для чужого влияния.

Хомейни продолжает говорить, все внимательно слушают, в кадре кто-то пытается утихомирить собравшуюся у возвышения детвору.

– Что он говорит? – снова спрашиваю я спустя минуту.

– Говорит, что никто не должен править в нашем доме и указывать нам; он говорит: будьте братьями друг для друга, будьте одним целым.

Это все, что они могут сказать на ломаном и нескладном английском. Те, кто изучает английский язык, должны знать, что общаться на нем становится все сложнее. То же самое с французским и любым другим европейским языком. Когда-то Европа, посылая на все континенты своих купцов, солдат, миссионеров и чиновников, насаждая свои интересы и культуру (последнюю – под большим вопросом), владела целым миром. Даже в самом отдаленном уголке Земли знание какого-либо европейского языка считалось признаком хорошего тона и свидетельствовало о приличном образовании, а зачастую было жизненной необходимостью, основанием для повышения в должности или по крайней мере условием того, что тебя принимали за человека. Эти языки изучали в африканских школах, говорили на них в экзотических парламентах, использовали, занимаясь торговлей, в государственных учреждениях, в азиатских судах и арабских чайханах. Европейец мог путешествовать по миру и везде чувствовать себя как дома, высказывать свое мнение и быть при этом уверенным, что его понимают. Сейчас же мир изменился, на земном шаре пышным цветом расцвели сотни патриотизмов, все хотят, чтобы их страна принадлежала только им и чтобы в ней все было устроено в соответствии с родной традицией. В наше время каждый народ свободен и независим (или, по крайней мере, хочет быть таким), печется о собственной самобытности и требует к себе уважения. В этом вопросе все стали крайне щепетильными. Даже малые и слабые народы (они, впрочем, особенно) не переносят поучений и бунтуют, когда кто-то пытается править ими и навязывать свои ценности (зачастую и вправду весьма сомнительные). Люди могут восхищаться чьей-то силой, но предпочитают де-

лать это на расстоянии и не желают, чтобы эта самая сила была опробована на них. У каждой силы есть своя динамика, своя индивидуальная тенденция к власти и экспансии, своя грубая назойливость и почти маниакальная потребность положить слабого на лопатки. Этот закон силы хорошо известен. Но что может сделать слабый? Только отгородиться. Для того чтобы в нашем битком набитом и нахальном мире защититься, удержаться на поверхности, слабый может лишь отделиться, отойти в сторону. Люди боятся, что их лишат самого важного, унифицируют походку, лица, языки, научат одинаково думать и вести себя, велят проливать кровь в чужих интересах и в конце концов проглотят. Отсюда и бунт, борьба за собственное существование, а стало быть, и за свой язык. В Сирии закрыли французскую газету, во Вьетнаме – английскую, а в Иране сейчас – и французскую, и английскую, по радио и телевидению здесь говорят только на фарси. На пресс-конференциях – то же самое. Того, кто в Тегеране не поймет вывеску на магазине женской одежды: «Вход мужчинам запрещен под страхом ареста», – могут посадить в тюрьму. Тот, кто не сможет прочитать надпись под Исфаханом: «Вход воспрещен. Минь!», – погибнет.

Когда-то я повсюду возил с собой карманный радиоприемник и, слушая местные радиостанции (все равно на каком континенте), знал, что происходит в мире. Сейчас это радио, такое незаменимое прежде, стало абсолютно бесполезным. Когда я кручу регулятор, из динамика звучат на десяти различных языках голоса десяти различных радиостанций, и я не понимаю ни слова. Проезжаю тысячу километров, и появляются новые десять радиостанций, столь же непонятных. Может быть, они говорят, что деньги, которые лежат у меня в кармане, с сегодняшнего дня недействительны? А может, говорят, что началась новая большая война?

То же самое и с телевидением.

Во всем мире каждый час на миллионах экранов мы видим бесчисленное количество людей, которые что-то нам говорят, в чем-то нас убеждают, жестикулируют и гримасничают, воодушевляются, смеются, кивают, показывают пальцем, а мы не понимаем, в чем

дело, чего они от нас хотят, к чему призывают. Как будто это пришельцы с далекой планеты, какая-то огромная армия рекламных агентов с Венеры или Марса, а ведь это наши сородичи, часть нашего рода, та же плоть и кровь, они так же шевелят губами, так же звучат их голоса, но мы абсолютно не понимаем друг друга. На каком языке будет вестись универсальный диалог человечества? Несколько сот языков борются за признание и популярность, возникают новые языковые барьеры, усугубляются непонимание и глухота.

После короткого перерыва, во время которого показывают цветочные поля (здесь очень любят цветы, могилы великих персидских поэтов окружены прекрасными цветущими садами), на экране появляется фотография молодого человека. За кадром – голос диктора.

– Что он говорит? – спрашиваю я своих картежников.

– Он называет имя и фамилию этого человека. И говорит, кем он был.

Следуют еще и еще фотографии. Это снимки со студенческих билетов, моментальные, в рамках, на фоне далеких развалин, вот семейная фотография – со стрелкой, указывающей на еле различимую девушку, о которой и идет речь. На каждую фотографию мы смотрим по несколько минут; диктор читает длинный список фамилий.

Родители ждут известий.

Ждут уже долгие месяцы, не теряя надежды – ее, по всей видимости, не осталось ни у кого, кроме них. Пропал в сентябре, декабре, январе, то есть во время самых тяжелых боев, когда над страной стояло огромное и негаснущее зарево. Видимо, их дети шли в первых рядах демонстраций, прямо под огонь автоматов. А может, с крыш близлежащих домов их высмотрели снайперы. Скорее всего, последним эти лица видел прицелившийся в них солдат.

Программа продолжается. Она идет каждый день; мы слушаем деловитый голос диктора, видим новых и новых людей, пропавших без вести.

Снова цветочные поля, а через минуту следующая передача. Опять фотографии, но уже абсолютно

других людей. В основном это пожилые мужчины, изможденные, одетые кое-как (мятые воротники и тиковые куртки), отчаянные взгляды, впалые щеки, небритые лица – у некоторых уже отросли бороды. У каждого на шее – большой кусок картона с именем и фамилией. Когда на экране появляется очередное лицо, картежники говорят – ага, вот он! – и все внимательно смотрят на экран. Диктор перечисляет совершенные преступления. Генерал Мохаммед Занд приказал расстрелять мирную демонстрацию в Тебризе, сотни убитых. Майор Хуссейн Фарзин истязал пленных, прижигая им веки и вырывая ногти.

– Несколько часов назад, – говорит диктор, – отряд исламской милиции привел в исполнение приговор трибунала.

Во время этого парада хороших и плохих каменных лиц в холле становится тяжело и душно, а колесо смерти, давно начавшее свое движение, катится дальше: появляются сотни новых фотографий (поблекших и совсем свежих, школьных и сделанных уже в тюрьме). В конце концов движущаяся, но постоянно приостанавливающаяся «процессия» начинает угнетать и затягивать, и в какой-то момент возникает мысль, что через миг я увижу на экране фотографии сидящих рядом ребят, потом свою собственную и услышу голос диктора, произносящего наши фамилии.

Я иду наверх, прохожу по пустому коридору и закрываюсь в захламленном номере. Из центра невидимого города, как обычно в это время, доносится эхо выстрелов. Огонь открывают регулярно, каждую ночь. Начинают примерно в девять, как будто это обусловлено давней традицией или уговором. Потом город замолкает, через некоторое время снова слышатся выстрелы, а порой даже глухие взрывы. Никто уже не обращает на них внимания и не воспринимает как угрозу (никто, кроме тех, в кого эти пули попадают). С середины февраля, когда в городе началось восстание и толпа разграбила военные склады, в вооруженном, наэлектризованном Тегеране под покровом ночи на улицах и в домах разыгрывается драма; таившееся днем подполье активизируется, и замаскированные боевые отряды выходят в город.

Беспокойные ночи обрекают людей на заточение в закрытых на все засовы домах. Вроде и комендантского часа нет, но движение по улицам с полуночи до рассвета осложнено и рискованно. В это время притаившийся и замерший город находится в руках либо исламской милиции, либо независимых вооруженных формирований. И в том и в другом случае это группы хорошо экипированных молодых людей, которые то и дело целятся из пистолетов, допрашивают, совещаясь друг с другом, а иногда на всякий случай отправляют задержанных в тюрьму, откуда потом сложно выбраться. К тому же неизвестно, кто арестовывает, поскольку насилие не имеет ни опознавательных знаков, ни мундиров, ни фуражек, ни повязок, ни значков – это просто вооруженные штатские, чью власть следует признать безоговорочно, если жизнь дорога.

Через несколько дней люди, однако, начинают ориентироваться во всем происходящем. Вот этот элегантный мужчина в выходном костюме, белой рубашке и тщательно подобранном галстуке, этот изысканный господин, идущий по улице с автоматом наперевес, наверняка милиционер одного из министерств или центральных ведомств. А парень в маске (на голове – шерстяной чулок с вырезанными для глаз и рта отверстиями) – местный федаин, ни лица, ни фамилии которого знать не положено. Непонятно, правда, что за люди в зеленых американских куртках ездят на машинах с выставленными из окон автоматами. Может, одна из оппозиционных группировок (религиозные фанаты, анархисты, недобитые агенты САВАК¹), а может, милиционеры носятся по городу с самоубийственной решимостью совершить какой-нибудь акт возмездия или саботажа.

Однако в принципе все равно, кто устроит засаду (правительство или подпольщики). Никого не интересуют подробности, люди стараются избегать сюрпризов и на ночь баррикадируются в своих домах. Моя гости-

¹ САВАК – Национальная организация информации и безопасности, служба внутренней безопасности и разведки Ирана в 1957–1979 годах, основанная при активном участии ЦРУ и Моссада. – Прим. пер.

ница тоже закрыта (сейчас отзвуки выстрелов, разносящихся по всему городу, смешиваются со скрежетом опускаемых жалюзи и скрипом захлопываемых калиток и дверей). Никто не придет, ничего не случится.

Мне не с кем словом перемолвиться, сижу один в пустом номере, просматривая лежащие на столе фотографии, заметки и слушая записанные на пленку разговоры.

ДАГЕРРОТИПЫ

Дорогой Боженька,
а Ты всегда вкладываешь правильные души
в правильных людей?
И что, Ты никогда не ошибаешься?

Синди

(«Письма детей Господу Богу», изд-во «Рах», 1978)

Фотография (1)

Это самая старая фотография, какую мне только удалось раздобыть. На снимке солдат держит в правой руке цепь, к которой прикован человек. Солдат и человек на цепи сосредоточенно смотрят в объектив, и, похоже, для них это важный момент. Солдат – невысокий пожилой мужчина, видно, что это простой и добропорядочный крестьянин; на нем огромный, плохо сшитый мундир, гармошкой топорщатся брюки, большая, криво надетая шапка держится на торчащих ушах, вообще он выглядит смешно и напоминает Швейка. У человека на цепи (худое, бледное лицо, впалые глаза) забинтована голова. Надпись под фотографией гласит, что солдат – родной дед шаха Мохаммеда Реза Пехлеви (последнего правителя Ирана), а раненый – убийца шаха Насер-эд-Дина. Фотография, должно быть, сделана в 1896 году, когда Насер-эд-Дина, процарствовавшего сорок девять лет, убил человек, изображенный на фотографии. Эти двое выглядят уставшими, и это понятно: уже несколько дней они идут из Кума к месту публичной казни – в Тегеран. Медленно плетутся по пустынной дороге и адской жаре, в мареве раскаленного воздуха, солдат сзади, а перед ним – исхудавший арестант. (Так некогда циркачи водили дрессированного медведя, давая в городках, попадавших на пути, забавные представления, чтобы заработать на жизнь себе и животному.) Оба еле передвигают ноги, все чаще отирая пот со

лба. Иногда убийца жалуется на боль в раненой голове, но в основном они молчат, да и о чем им говорить: убийца совершил преступление, и солдат ведет его на казнь. В те годы Персия была абсолютно нищей страной, повсюду бездорожье, конные упряжки имели лишь аристократы, посему эти двое и вынуждены пешком добираться к месту, определенному приговором и приказом. Иногда на пути им попадаются глиняные мазанки, перед которыми неподвижно сидят обедневшие крестьяне, прикрытые лохмотьями. Однако при виде плетущихся по дороге пленника и конвоира в глазах этих людей появляется искра любопытства, они поднимаются и окружают покрытых слоем пыли незнакомцев.

– А кого это вы ведете? – робко спрашивают они солдата.

– Кого? – повторяет вопрос солдат и с минуту молчит, дабы усилить эффект. – Убийцу шаха! – говорит он наконец, указывая на арестованного.

В голосе солдата звучит нескрываемая гордость. Крестьяне смотрят на раненого с ужасом и восхищением. Оттого, что человек на цепи убил такого великого господина, он и сам кажется великим, принадлежащим к высшему свету. Они не знают, возмущаться им или упасть перед ним на колени. Тем временем солдат привязывает цепь к вбитому у дороги колышку, снимает с плеча винтовку (такую длинную, что она почти достает до земли) и приказывает крестьянам принести еды и питья. Крестьяне чешут затылки, ведь в деревне нечего есть, голод. Добавим, что солдат – тоже крестьянин, у него, как и у них, нет собственной фамилии. Вместо фамилии он использует название своей деревни – Савад-Кухи, – зато на нем мундир, винтовка и именно ему поручено отвести преступника к месту казни. Используя свое высокое положение, он повторяет требование, поскольку зверски голоден. Кроме того, нельзя допустить, чтобы человек на цепи умер от жажды и истощения, ведь тогда в Тегеране придется отменить необычайное зрелище – повешение при всем народе убийцы самого шаха. Перепуганные крестьяне, безжалостно понукаемые солдатом, в конце концов приносят все, что у них есть и чем они сами питаются: вырытые

из земли увядшие корешки и сушеную саранчу. Солдат и убийца садятся в тень, с аппетитом жуют саранчу, выплевывая крылышки и запивая ее водой, а крестьяне молча и завистливо смотрят на них. Когда наступает вечер, солдат выбирает лучший дом в деревне, выгоняет хозяев и превращает его в камеру предварительного заключения. Он обматывает себя цепью (чтобы преступник не сбежал), затем оба ложатся на глиняный, черный от тараканов пол, и, изнуренные многочасовым походом, проваливаются в глубокий сон. Утром они отправляются дальше – на север, в Тегеран, через ту же пустыню, по той же вибрирующей жаре и в том же порядке: впереди – убийца с забинтованной головой, за ним бряцающая железная цепь, поддерживаемая рукой солдата-конвоира, и, наконец, он сам – в плохо сшитом мундире, настолько смешной в своей большой и криво надетой шапке, держащейся на оттопыренных ушах, что, впервые увидев его на фотографии, я подумал, что он ужасно похож на Швейка.

Фотография (2)

На фотографии мы видим молодого офицера Бригады Персидских Казаков, стоящего около пулемета и объясняющего товарищам, одетым в рубашки и папахи, принцип действия этого смертоносного оружия. На снимке – усовершенствованная модель «Максима» 1910 года, фотография тоже, скорее всего, относится к тому времени. Молодого офицера (он родился в 1878 году) зовут Реза Хан, и он – сын конвоира, которого мы встретили несколькими годами раньше в пустыне, когда тот вел на казнь убийцу шаха. Сравнив две фотографии, мы заметим, что в отличие от отца Реза Хан просто великан. Он выше всех как минимум на голову, у него мощная грудная клетка, и он выглядит силачом, без труда разгибающим подковы. Воинственное выражение лица, холодный, изучающий взгляд, широкие, массивные челюсти, губы сжаты, на улыбку нет и намека. На голове – казацкая папаха из черного каракуля, поскольку, как я уже заметил, он – офицер Бригады Персидских Казаков (единственной армии, имевшейся

тогда у шаха) под командованием царского полковника из Санкт-Петербурга Всеволода Ляхова. Реза Хан – любимец полковника Ляхова, обожавшего прирожденных солдат, а наш офицер именно таков. Он вступил в бригаду четырнадцатилетним мальчишкой, будучи абсолютно безграмотным (впрочем, он до конца жизни так и не научится хорошо читать и писать), и благодаря послушанию, дисциплинированности, решительности и врожденному уму, а также тому, что военные называют талантом полководца, постепенно поднимался по ступеням военной карьеры. Однако активное продвижение начнется только после 1917 года, когда шах заподозрит Ляхова (кстати, совершенно несправедливо) в симпатиях к большевикам, отправит его в отставку и отошлет в Россию. Реза Хан станет полковником и командиром казачьей бригады, которая с этого момента перейдет в руки англичан. Британский генерал, сэр Эдмунд Айронсайд, на одном из приемов, стоя на цыпочках, чтобы дотянуться до уха Реза Хана, скажет: «Полковник, вы человек больших возможностей!» Они выйдут в сад, где во время прогулки генерал подкинет ему идею государственного переворота и передаст благословение Лондона. В феврале 1921 года Реза Хан во главе бригады войдет в Тегеран, арестует столичных политиков (зима, идет снег, политики жалуются на холод и сырость тюремных камер), созовет новое правительство, где займет пост военного министра, а затем и премьера. В декабре 1925 года послушное Конституционное собрание (от страха перед полковником и стоящими за ним англичанами) провозгласит казачьего командира шахом Персии. С тех пор нашего молодого офицера, изображенного на фотографии, будут называть Великим Шахом Реза, Царем Царей, Тенью Всемогущего, Наместником Бога и Центром Вселенной, а также основателем династии Пехлеви, взявшей свое начало от него и по велению судьбы закончившейся на сыне, который в такое же холодное зимнее утро, как и то, когда отец занимал столицу и трон – только пятьдесят восемь лет спустя, – покинет дворец и Тегеран, улетаая современным реактивным самолетом навстречу неизвестности.

Фотография (3)

Многое становится понятным, если внимательно изучить фотографию отца и сына, сделанную в 1926 году. На ней отцу сорок восемь лет, сыну – семь. Контраст между ними с любой точки зрения поразительный: крупный, рослый шах-отец стоит, насупившись, в позе, не терпящей возражений, а рядом, едва доставая отцу до пояса, послушно вытянулся по струнке хрупкий, бледный и испуганный мальчик. Оба одеты в одинаковые мундиры, у обоих одинаковые головные уборы, ботинки, пояса, одинаковое число пуговиц – по четырнадцать. Идентичность нарядов – идея отца, жаждущего, чтобы сын, абсолютно другой по натуре, как можно больше напоминал его самого. Сын понимает это, и хотя по природе своей слаб, хил и неуверен в себе, он будет стараться любой ценой походить на жестокого и деспотичного родителя. С этого момента в мальчике начнут развиваться и сосуществовать две натуры – его собственная, врожденная, и отцовская. Уже через много лет заняв трон, он будет инстинктивно (а зачастую и сознательно) копировать его поведение и даже в конце своего царствования ссылаться на авторитет отца.

А пока отец начинает править с присущими ему энергией и напором. Он преисполнен чувством собственной исключительности и знает, чего хочет (говоря языком шаха, его цель – заставить темную массу работать и построить сильное современное государство, перед которым все делали бы в штаны от страха). У него железная, как у пруса, рука и простые методы. Старый, дремлющий, расшатанный Иран дрожит в своем основании (по приказу правителя Персия теперь называется Ираном). Шах начинает с создания мощной армии. Сто пятьдесят тысяч человек получают мундиры и оружие. Армия становится предметом пристального внимания шаха, самой большой его страстью. Армия всегда должна иметь деньги, она должна иметь все. Армия покажет народу, что такое современность, дисциплина и послушание. Все должны стоять по струнке! Он издает указ, запрещающий носить иранскую одежду. Все должны ходить в европейских костюмах. Он запрещает носить иранские головные уборы. Все должны ходить

в европейских головных уборах! Он запрещает носить чадру. На улицах полиция сдирает чадры с испуганных женщин. Против этого протестуют верующие в мечетях Мешхеда. Он посылает туда артиллерию, и та разрушает мечети и уничтожает бунтовщиков. Он приказывает кочевым племенам поселиться в одном месте. Кочевники протестуют. Он приказывает отравить колодцы, обрекая людей на голодную смерть. Кочевники продолжают протестовать, и тогда он посылает карательные отряды, превращающие целые земли в безлюдное пространство. Много крови течет по дорогам Ирана. Он запрещает фотографировать верблюдов. Верблюд, по его словам, отсталое животное. В Куме какой-то мулла в проповедях критикует монарха. Шах заходит в мечеть и лупит его палкой. Великого аятоллу Мадреси, воспротивившегося ему, на долгие годы отправляют в тюрьму. Либералы выражают в газетах робкий протест. Он закрывает газеты, а либералов сажает за решетку. Некоторых велит замуровать в башне. Те, кого он сочтет недовольными, в наказание должны ежедневно отмечаться в полиции. Даже аристократки во время приемов теряют сознание от сурового взгляда брюзгливого и неприступного великана.

Реза Хан до конца жизни сохранит множество привычек из поры своего деревенского детства и казарменной юности. Он живет во дворце, но продолжает спать на полу, всегда ходит в мундире, ест с солдатами из одного котла. Свой парень! В то же время он жаден, лишь только речь заходит о земле и деньгах. Используя свою власть, он сколачивает небывалое состояние. Становится крупнейшим феодалом, собственником примерно трех тысяч деревень и двухсот пятидесяти тысяч крестьян, приписанных к этим деревням; он владеет акциями фабрик и капиталами банков, собирает дань, считает и считает, прибавляет и прибавляет. Стоит ему увидеть большой лес, зеленую долину, плодородную плантацию, как глаза у него загораются – и эти лес, долина, плантация переходят в его собственность. Даже приближаться к границе монаршей земли опасно. Для острастки он устраивает показательную экзекуцию: по приказу шаха взвод расстреливает осла, забредшего на

поляну Реза Хана. Предварительно на место экзекуции были согнаны местные крестьяне, дабы учились уважать господскую собственность.

В то же время помимо поступков, продиктованных жестокостью, алчностью, да просто странностями, старый шах предпринял шаги, принесшие стране значительную пользу. Так, он спас Иран от распада, грозившего стране после Первой мировой войны. Кроме того, старался модернизировать страну, строил автомобильные и железные дороги, школы и государственные учреждения, аэропорты и новые городские районы. Однако народ по-прежнему оставался бедным и забытым, и, когда Реза Хан покинул престол, люди долго праздновали это событие.

Фотография (4)

Знаменитый снимок, в свое время облетевший весь мир: Сталин, Рузвельт и Черчилль сидят в креслах на просторной веранде. Сталин и Черчилль облачены в мундиры. На Рузвельте – темный костюм. Тегеран, солнечное декабрьское утро 1943 года. Все трое выглядят спокойными, и это нас обнадеживает: идет самая тяжелая в истории человечества война, и выражение лиц этих людей для всех очень важно – оно должно пробуждать надежду. Фоторепортеры заканчивают съемку, и большая тройка проходит в холл для частной беседы. Рузвельт спрашивает Черчилля, что произошло с правителем Ирана, шахом Реза (если я правильно – тут же оговаривается Рузвельт – произношу фамилию). Черчилль, пожимая плечами, неохотно рассказывает о том, что шах восхищался Гитлером и окружил себя его людьми. Страну заполонили немцы – дворец, министерство, армию. Абвер получил в Тегеране огромную власть, и шах смотрел на это сквозь пальцы, поскольку Гитлер вел войну против Англии и России, а наш монарх не терпел ни Англию, ни Россию и довольно потирал руки, когда войска фюрера успешно продвигались вперед. Лондон беспокоила потеря иранской нефти – основного топлива для британского флота, а Москва опасалась, что немцы высадятся в Иране и начнут наступление в районе Каспийского моря. Однако прежде всего речь

шла о трансиранской магистрали, по которой американцы и англичане собирались доставлять оружие и продовольствие для Сталина. Шах не дал согласия на ее использование, а момент был драматический: немецкие дивизии одерживали на востоке одну победу за другой. В этой ситуации союзники начали действовать решительно – в августе 1941 года в Иран вступают части советских войск и британской армии. Тот факт, что пятнадцать иранских дивизий сдались без особого сопротивления, шах посчитал невероятным и воспринял его как личное поражение. Часть солдат разбрелась по домам, остальных союзники заперли в казармах. Шах, лишенный армии, перестал что-либо значить. Англичане, уважающие даже предавших их монархов, предоставили ему достойный выход из создавшейся ситуации: Его Величество должен отречься от власти в пользу сына-наследника. Мы хорошо к нему относимся и обеспечим поддержку. Но пусть Его Величество не думает, что есть еще какой-нибудь выход! Шах согласился, и в сентябре того же 1941 года на трон взошел его двадцатидвухлетний сын Мохаммед Реза Пехлеви. Старый шах стал частным лицом и впервые за долгое время надел гражданский костюм. Англичане на корабле отвезли его в Африку, в Йоханнесбург (где он и умер через три года скучной, хотя и комфортной жизни, о которой и сказать-то нечего). «We brought him, we took him», – коротко подытожил Черчилль («Мы его поставили, мы его и сняли»).

Из записей (1)

Похоже, у меня не хватает нескольких фотографий, а может, я просто не могу их найти. Нет фотографии последнего шаха времен его ранней молодости. Нет и фотографии 1939 года, когда он учился в офицерской школе Тегерана. Принцу тогда исполнилось двадцать лет, и отец присвоил ему звание генерала. Нет фотографии его первой жены Фавзии, купающейся в молоке. Да, Фавзия, сестра короля Фарука, девушка необыкновенной красоты, купалась в молоке, а принцесса Ашраф, сестра-близнец молодого шаха и, по слухам, его злой гений, черная совесть, подсыпала невест-

ке в ванну едкие порошки: таков один из дворцовых скандалов. Зато есть фотография последнего шаха, датированная 16 сентября 1941 года, в день, когда Мохаммед Реза Пехлеви принял трон отца. На фото он стоит в зале парламента – худой, в нарядном костюме, с саблей на боку – и читает текст присяги. Снимок был опубликован во всех альбомах, посвященных шаху, а их были десятки, если не сотни. Молодой шах очень любил читать книги о себе и листать изданные в его честь альбомы. Еще он очень любил присутствовать на открытии своих памятников и демонстрации портретов, увидеть которые не составляло большого труда – достаточно было встать в любом месте и внимательно осмотреться: шах был повсюду. Поскольку он не отличался высоким ростом, фотографы устанавливали объективы таким образом, чтобы на снимке он казался выше всех. Шах облегчал им задачу тем, что ходил в обуви на высоких каблуках. Подданные целовали ему ноги. У меня даже есть фотография, где они лежат, припав к его ногам. Но нет снимка продырявленного пулями и залитого кровью мундира 1949 года; он был выставлен в витрине в офицерском клубе Тегерана как реликвия, как напоминание. Шах был в нем, когда молодой человек, переодетый фотографом, произвел серию выстрелов из вмонтированного в фотоаппарат пистолета, тяжело ранив монарха. Вроде бы на него покушались пять раз, из-за чего возникла атмосфера такой напряженности (в принципе реальной), что шах окружил себя целой толпой охранников. Иранцев раздражало, что на торжества с его участием в целях безопасности приглашались одни лишь иностранцы. В народе язвительно замечали, что по Ирану он путешествует исключительно на самолете или вертолете и смотрит на свою страну только с высоты птичьего полета – удобной и нивелирующей контрасты перспективы. У меня нет ни одной фотографии молодого Хомейни. В моей фотоколлекции он предстает лишь стариком, как будто у него не было ни молодости, ни зрелости. Местные фанатики верят, что Хомейни – тот самый двенадцатый имам, Ожидаемый, который исчез в девятом веке и сейчас, спустя более чем тысячу лет, вернулся, дабы избавить их от бед

и преследований. Парадоксально, но тот факт, что Хомейни на всех снимках уже немолод, может служить подтверждением их иллюзорной веры.

Фотография (5)

По всей видимости, это величайший день в долгой жизни доктора Мосаддыка. Ликующая толпа выносит адвоката из парламента на руках. Он улыбается и, подняв правую руку вверх, приветствует людей. Три дня назад, 28 апреля 1951 года, Мосаддык стал премьером, а сегодня парламент принял его проект закона о национализации нефти. Величайшее сокровище Ирана теперь стало собственностью народа. Мы обязаны почувствовать атмосферу той эпохи, поскольку с того времени мир очень изменился. В те годы решиться на подобный поступок было все равно что внезапно сбросить бомбу на Лондон или Вашингтон. Психологический эффект тот же – шок, страх, негодование. Где-то там, в каком-то Иране, какой-то старый адвокат и, скорее всего, просто непредсказуемый демагог посягнул на «Anglo-Iranian» – оплот нашей империи! Неслыханно и, что самое главное, непростительно! Колониальная собственность действительно была святой ценностью, табу. Но в тот день (изображенные на снимке люди очень воодушевлены) иранцы еще не знали, что совершили преступление и должны будут понести суровое наказание. Пока же весь Тегеран радовался и праздновал великий день очищения от чужого и ненавистного прошлого. «Нефть – наша кровь!» – скандировали неистовствующие толпы. «Нефть – наша свобода!» Атмосфера города перенеслась во дворец, и шах подписал акт о национализации. Это был тот момент, когда все соединяются братскими узами, редкий миг, который скоро превратится в воспоминание, поскольку согласие в народной семье продлится недолго. Отношения между Мосаддыком и обоими шахами Пехлеви (отцом и сыном) никогда не складывались. Мосаддык, либерал и демократ (особенно почитавший французских мыслителей), верил в такие институты, как парламент и свободная пресса, и переживал из-за того, что его родина находилась в состоянии зависимости. Уже во время Первой мировой

войны, после возвращения с учебы в Европе, он стал членом парламента и начал бороться с коррупцией и лакейством, жестокостью власти и продажностью элиты. Когда Реза Хан совершил переворот и надел корону шаха, Мосаддык выступил против него со всей резкостью, считая его чинушей и узурпатором, а в знак протеста вышел из состава парламента и отстранился от дел. После падения Реза Хана перед Мосаддыком и его единомышленниками открылись большие перспективы. Молодого шаха в то время больше интересовали развлечения и спорт, чем политика, поэтому появилась возможность установить в Иране демократию и сделать страну полностью независимой. Силы Мосаддыка были так велики, а его заявления стали настолько популярными, что шах отошел на второй план. Он играл в футбол, летал на личном самолете, устраивал маскарады, разводился и женился, катался на лыжах в Швейцарии. Шаха никогда особо не любили, и круг его приближенных был весьма ограниченным. В него входили прежде всего офицеры, опора дворца: пожилые военачальники, помнившие мощь и авторитет армии в годы правления шаха Реза, и молодые офицеры, приятели нового шаха по военной школе. И тех и других шокирует демократизм Мосаддыка и введенное им правление толпы. Но рядом с Мосаддыком находится человек, пользующийся высочайшим авторитетом, – аятолла Кашани, а это значит, что на стороне старого адвоката весь народ.

Фотография (б)

Шах со своей второй супругой Сорейей Эсфандиари в Риме. Однако это не свадебное путешествие и не радостная, беззаботная поездка, предпринятая с целью отдохнуть от рутины повседневной жизни, а побег из Ирана. Даже позируя, тридцатичетырехлетний шах (в светлом двубортном костюме, молодой, загорелый) не может скрыть волнения, что неудивительно: в эти дни решается его монаршая судьба – неизвестно, вернется ли он на покинутый спешно трон или будет жить как блуждающий по миру эмигрант. Зато Сорейя, женщина необыкновенной, хоть и холодной красоты, дочь вождя

племени Бахтияров и поселившейся в Иране немки, выглядит более уверенно и спокойно, на ее лице трудно что-либо прочесть, тем более что глаза ее скрывают темные очки. Они прилетели сюда вчера, 17 августа 1953 года, собственным самолетом (за штурвалом сидел сам шах – это занятие всегда его расслабляло) и остановились в роскошной гостинице «Эксельсиор», в которой теперь толпятся десятки фоторепортеров в ожидании любого появления монаршей четы. Лето, Рим полон туристов, на итальянских пляжах царит столпотворение (в моду как раз входит бикини). Время отпусков, Европа отдыхает, осматривает достопримечательности, питается в хороших ресторанах, путешествует по горам, разбивает палатки, набирается сил и укрепляет здоровье перед осенними холодами и снежной зимой. Тем временем в Тегеране никто не думает о спокойствии и отдыхе, так как здесь уже ощутим запах пороха и слышен звук затачиваемых ножей. Все говорят, что должно что-то произойти и произойдет непременно (воздух как будто становится все более плотным и предвещает скорый взрыв), но о том, кто и как начнет восстание, знает только стайка заговорщиков. Два года правления Мосаддыка подошли к концу. Старый адвокат, на которого давно готовят покушение (в заговоре против него находятся и люди шаха, и религиозные фанатики), переезжает вместе с кроватью, чемоданом пижам (у него была привычка работать в пижаме) и сумкой лекарств в здание парламента, думая, что так безопаснее. Здесь он живет и исполняет служебные обязанности – не выходя на улицу, подавленный до такой степени, что те, кто видел его тогда, замечали у него на глазах слезы. Все надежды Мосаддыка рухнули, расчеты оказались ошибочными. Он прогнал англичан с нефтяных месторождений, заявив, что каждая страна имеет право на собственное богатство, но забыл о том, что сила значит больше, чем право. Запад объявил о блокаде Ирана и бойкоте иранской нефти, и она стала на рынках запретным плодом. Мосаддык рассчитывал на то, что в споре с Англией американцы признают его правоту и помогут. Однако те не протянули руку помощи. Иран, которому практически нечего продавать, кроме нефти,

оказался на грани банкротства. Мосаддык пишет Эйзенхауэру письмо за письмом, взывает к его совести и разуму, но письма остаются без ответа. Эйзенхауэр подозревает его в симпатиях к коммунистам, хотя Мосаддык – независимый патриот и противник коммунистов. Никто не хочет слушать объяснений адвоката, поскольку в глазах сильных мира сего патриоты из слабых стран выглядят подозрительно. Эйзенхауэр рассчитывает на шаха и уже ведет с ним переговоры, но шаха бойкотируют в собственной стране, он давно не выходит из дворца, находится в состоянии депрессии и боится, что разгневанный народ лишит его трона. Шах говорит своим близким – все потеряно! все потеряно! – и не знает, слушать ли приближенных офицеров, советующих убрать Мосаддыка, если шах хочет спасти монархию и армию (премьер настроил против себя офицеров высшего ранга, уволив двадцать пять генералов и обвинив их в измене родине и демократии). Монарх долго не может решиться ни на один серьезный шаг, который окончательно разрушил бы и без того прогнившие мосты между ним и премьером. Оба втянуты в борьбу, и противостояние это уже не закончится полюбовно, поскольку тут конфликт между принципом абсолютного правления шаха и принципом демократии, пропагандируемой Мосаддыком. Возможно, шах медлит оттого, что испытывает к старому адвокату некоторое уважение, а может, у него просто не хватает смелости объявить старику войну, нет уверенности в себе и воли к решительным действиям. Скорее всего, шах хочет, чтобы неприятную и даже жестокую процедуру за него провел кто-нибудь другой. По-прежнему нерешительный и постоянно раздраженный, он уезжает из Тегерана в свою летнюю резиденцию на Каспийском море, Рамсар, где в конце концов подписывает премьеру приговор. Когда же выяснится, что о первой попытке расправы с адвокатом стало известно заранее и поэтому она окончилась поражением дворца, шах, не ожидая дальнейшего (и, как потом окажется, благоприятного для него) развития событий, сбежит с молодой супругой в Рим.

Фотография (7)

Снимок вырезан из газеты, но так небрежно, что подпись под ним не сохранилась. На фотографии – стоящий на высоком гранитном цоколе памятник: всадник на коне. Всадник богатырского телосложения твердо сидит в седле, левой рукой опираясь о лук седла, а правой указывая вдаль (скорее всего, в будущее). Шея всадника обмотана одной веревкой, шея лошади – другой. Толпа мужчин, стоящих под памятником, тянет за обе. Все это происходит на площади, заполненной людьми. Они внимательно наблюдают, как мужчины повисают на веревках, стараясь преодолеть сопротивление тяжелой, медной глыбы постамента. Фотография сделана в тот момент, когда веревки натянулись, как струны, а всадник и конь до такой степени наклонились, что становится понятно: через миг они рухнут на землю. Невольно на ум приходит мысль, успеют ли люди, тянущие с таким трудом и усердием за веревки, отскочить в сторону, ведь сквер полон назойливых зевак. На фотографии запечатлен момент разрушения памятника, поставленного в честь одного из шахов Пехлеви в каком-то иранском городе. Однако определить, когда был сделан снимок, трудно: памятники обоим шахам разрушались неоднократно, а точнее – всегда, когда у народа появлялась такая возможность. И сейчас, узнав, что шах бежал из дворца и находится в Риме, люди вышли на площади и разбили памятники династии.

Газета (1)

Интервью репортера тегеранской газеты «Кайхан» с одним из разрушителей памятников:

– Голам, в своем районе вы приобрели популярность как разрушитель памятников, вас даже считают своего рода ветераном этого дела.

– Это правда. Впервые я участвовал в разрушении памятников старого шаха, а именно – отца Мохаммеда Реза – в 1941 году, когда тот отрекся от трона. Помню, все в городе обрадовались, узнав об этом, и тут же бросились разрушать его памятники. Я тогда был

молодым парнем и помогал отцу вместе с соседями разбивать памятник, поставленный Реза Ханом в свою честь в нашем районе. Можно сказать, это было мое боевое крещение.

– Вас за это преследовали?

– Тогда еще нет. После ухода старого шаха на некоторое время наступила свобода. Молодой шах не имел достаточного влияния, чтобы диктовать свою волю. Да и кто бы нас преследовал? Все были против монархии. Шаха поддерживала только часть офицеров и американцы, конечно. Потом произошел переворот, нашего Мосаддыка посадили, его людей и коммунистов расстреляли. Шах вернулся и ввел диктатуру. Это было в 1953 году.

– А вы помните 1953 год?

– Разумеется, ведь это самый важный год: тогда закончилась демократия и наступил период режима. Во всяком случае, я помню, как по радио объявили, что шах сбежал в Европу, и когда люди это услышали, то вышли на улицы и стали крушить памятники. Надо сказать, молодой шах ставил памятники отцу и себе с самого начала своего правления, поэтому их накопилось очень много. К тому времени мой отец умер, но я вырос и уже самостоятельно разрушал памятники.

– Вы разрушили все памятники шаху?

– Да, мы хорошо поработали. Когда после переворота шах вернулся, не было ни одного памятника в честь рода Пехлеви. Но он снова стал их ставить.

– То есть вы разрушали, а он ставил новые; а то, что он ставил, вы потом разрушали – и так по кругу?

– Все именно так и было. У нас просто руки опускались. Мы разрушали один памятник, а он ставил три новых; мы разрушали три – он ставил десять. Конца-края этому не было.

– А когда вы вновь принялись разрушать памятники после 1953 года?

– Мы собирались сделать это в 1963 году, во время восстания, вспыхнувшего после ареста Хомейни. Но шах устроил такой террор, что мы не успели ничего сломать и вынуждены были спрятать веревки по-дальше.

– Как я понимаю, вы использовали для этого специальные веревки?

– А как же! Крепкие сизалевые канаты, которые мы прятали у продавца веревок на базаре. Все было очень серьезно: выйди полиция на наш след, нас поставили бы к стенке. Но мы все продумали и только ждали подходящего момента. Во время последней революции, в 1979 году, в разрушении памятников принимало участие большое число любителей, и поэтому произошло много несчастных случаев (памятники падали им на головы). Разрушить памятник не так-то просто, тут нужны профессиональный подход и опыт. Надо знать, из чего он изготовлен, какой у него вес, высота, приварен ли он или зацементирован, в каком месте следует закрепить канат, в какую сторону нужно раскачивать фигуру и как ее потом разбить. Мы начинали разрабатывать стратегию, когда они только принимались ставить очередной памятник. Ведь именно тогда появлялась прекрасная возможность подсмотреть, из чего сделана конструкция, полая это фигура или же она чем-то наполнена и, самое главное, как она соединена с цоколем, каким образом памятник закреплен.

– У вас должно было уходить на это много времени.

– Очень много! Знаете, в последние годы шах ставил себе особенно много памятников. Повсюду – на площадях, улицах, около вокзалов, дорог. Кроме того, и другие ставили ему памятники. Тот, кто хотел получить хороший контракт и обойти конкурентов, первым спешил поставить какой-нибудь монумент. Поэтому многие памятники были плохого качества, и разрушить их не составляло большого труда. Но, признаюсь, в какой-то момент я начал сомневаться в том, что мы сможем разрушить их все. Сотни монументов. Мы вкалывали не жалея сил. Я стер себе руки веревками.

– Да, Голам, интересное у вас было занятие.

– Не занятие, а обязанность. Я очень горжусь тем, что разрушал памятники. Думаю, всем, кто принимал в этом участие, есть чем гордиться. То, что мы сделали, видно каждому, все цоколи пусты, а памятники разбиты или валяются во дворах.

Книга (1)

Американские журналисты Дэвид Уайз и Томас Б. Росс в книге «Невидимое правительство» («The Invisible Government», Лондон, 1965) пишут:

«Нет ни малейшего сомнения в том, что ЦРУ организовало и руководило переворотом, приведшим в 1953 году к свержению премьера Мохаммеда Мосаддыка и воцарению шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Однако немногие американцы знают, что во главе переворота стоял агент ЦРУ, внук президента Теодора Рузвельта. Этот человек, Кермит Рузвельт, провел в Тегеране настолько эффектную операцию, что еще долгие годы потом в кругах ЦРУ его называли Мистером Иран. По управлению ходила легенда, будто Кермит руководил переворотом и при этом держал пистолет у виска командира иранского танка, когда бронетанковая колонна въезжала в Тегеран. Но другой агент, прекрасно знавший, как все происходило на самом деле, и назвавший этот рассказ «несколько романтичным», заявил: «Кермит руководил всей операцией не с территории посольства, а из одного тегеранского подвала, – и с восхищением добавил: – Это действительно была операция уровня Джеймса Бонда».

Генерал Фазолла Захеда, которого ЦРУ собиралось назначить на место премьера Мосаддыка, тоже был личностью, заслуживающей того, чтобы стать героем шпионского романа. Высокий красавец, любитель женщин, Захеда боролся с большевиками, затем попал в плен к курдам, а в 1942 году его арестовали англичане, подозревавшие его в том, что он гитлеровский шпион. Во время Второй мировой войны англичане и русские совместно оккупировали Иран. Британские агенты, арестовывавшие Захеда, утверждали, что нашли в его спальне коллекцию немецкого автоматического оружия, шелковые женские трусики, немного опиума, письма немецких парашютистов, действовавших в горах, а также иллюстрированную брошюру с перечнем самых роскошных проституток Тегерана.

Вскоре после войны Захеда вернулся к общественной жизни. Когда в 1951 году Мосаддык стал премьером, генерал занял пост министра внутренних дел. Мо-

саддык национализировал британскую фирму «Anglo-Iranian» и занял крупный нефтеперерабатывающий завод в Абадане, что в Персидском заливе.

Премьер спокойно относился к иранской коммунистической партии Туде, поэтому Лондон и Вашингтон опасались, как бы русские не завладели большими нефтяными запасами Ирана. Мосаддык, руководивший страной лежа в постели, заявил, что очень болен, и поругался с Захеди, поскольку тот был противником толерантного отношения к коммунистам. Так выглядела ситуация в тот момент, когда ЦРУ и Кермит Рузвельт начали операцию по отстранению Мосаддыка от власти и назначению на его должность Захеди.

Решение о свержении Мосаддыка было принято совместно британским и американским правительствами. ЦРУ решило, что к тому моменту сложились достаточно благоприятные условия для проведения операции. Рузвельт, в свои 37 лет уже считавшийся ветераном разведки, проник в Иран нелегально. Он пересек границу на машине, добрался до Тегерана и – исчез. Рузвельту было необходимо это сделать, так как он уже не раз приезжал в Иран, и его могли узнать. Чтобы агенты Мосаддыка не вышли на его след, он неоднократно менял адреса. Помогали ему пятеро американцев, в том числе агенты ЦРУ, работавшие в американском посольстве. Также с ним сотрудничали местные агенты, в том числе высокопоставленные чиновники иранской разведки, с которыми он поддерживал связь через посредников.

13 августа шах подписал декрет об отстранении Мосаддыка от должности и назначении на пост премьера Захеди. Однако Мосаддык арестовал полковника, принесшего ему этот документ (будущего шефа САВАК Нематоллу Нассери). В знак протеста народ вышел на улицы, и шах с женой Сорейей спешно уехал в Багдад, а затем в Рим.

В течение следующих двух дней царил такой хаос, что Рузвельт даже потерял контакт со своими иранскими агентами. Одновременно с шахом в Рим отправился и шеф ЦРУ Аллен Даллес, чтобы оттуда вместе с Мохаммедом Реза руководить операцией. В Тегеране же кон-

троль над действиями масс осуществляли коммунисты. Они праздновали отъезд шаха, разрушая его памятники, когда внезапно появившиеся военные окружили манифестантов. Утром 19 августа Рузвельт отдал иранским агентам приказ вывести на улицы всех, кого только найдут.

Агенты отправились в атлетические клубы и вербовали там не то тяжелоатлетов, не то гимнастов, а затем с их помощью организовали грандиозную толпу, двинувшуюся на базар, прославляя шаха.

Вечером перед народом появился Захеда. Шах вернулся из изгнания. Мосаддыка посадили в тюрьму. Лидеров Туде казнили.

Разумеется, Соединенные Штаты никогда официально не признавались в том, какую роль во всем этом сыграло ЦРУ. И все же кое-что после своего ухода из ЦРУ сказал сам Даллес, выступая в 1962 году в телепередаче Си-би-эс. На вопрос: действительно ли «ЦРУ потратило миллионы долларов на вербовку людей, вышедших на уличные демонстрации и другие акции, целью которых было свержение Мосаддыка?», – Даллес ответил: «О'кей, могу только сказать, что утверждение, будто мы потратили на это много денег, абсолютно ошибочно».

Книга (2)

Вот что пишут в книге «Иран: революция во имя Бога» («Iran: la révolution au nom de Dieu», Париж, 1979) французские журналисты Клер Бриер и Пьер Бланше:

«Рузвельт пришел к выводу, что настало время задействовать банду Хабахана Бимора по прозвищу Хабахан Безмозглый, шефа ганга тегеранских люмпенов и чемпиона по национальной вольной борьбе – Зур Хану. Хабахан в состоянии собрать триста, четыреста своих друзей, умеющих драться, а если надо, то и стрелять. При условии, конечно, что им дадут оружие. Новый посол Соединенных Штатов Лой Хендерсон отправляется в банк «Melli», берет мешки с долларами и грузит их в свою машину. Четыреста тысяч, как просят. Затем меняет их на риалы.

19 августа небольшие группы иранцев (люди Безмозглого) достают на улицах банкноты и говорят: «Кричите: „Да здравствует шах!“» Тот, кто кричит, получает десять риалов. Постепенно к парламенту стекается настоящее шествие, люди, размахивая деньгами, кричат: «Да здравствует шах!» Толпа растет, одни прославляют шаха, другие – Мосаддыка.

Неожиданно появляются танки, атакующие демонстрацию противников шаха. Руководит операцией Захеда. По манифестантам открывают пулеметный огонь. В итоге – двести убитых, свыше пятисот раненых. В четыре часа дня, выполнив приказ шаха, Захеда отправляет тому депешу о том, что монарх может возвращаться.

26 октября 1953 года Теймура Бахтияра объявляют военным губернатором Тегерана. Человек жестокий и безжалостный, он вскоре получает прозвище Убийца. Основной его задачей было преследование тех сторонников Мосаддыка, которым удалось скрыться. Он освобождает из тюрьмы Каср всех уголовников, затем по его приказу танки и бронетранспортеры окружают тюрьму, куда военные грузовики без конца привозят арестованных. Сторонников Мосаддыка – министров, военных, деятелей Туде – допрашивают и истязают. Во внутреннем дворе тюрьмы совершаются сотни казней.

Для иранцев день переворота, 19 августа 1953 года, стал днем окончательного воцарения шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, воцарения, которому сопутствовали кровь и жесточайшие репрессии».

Кассета (1)

– Конечно, вы можете записывать. Это уже не запретная тема. Вот раньше – да. А вы знаете, что на протяжении двадцати пяти лет нельзя было публично проносить его фамилию? Что слово «Мосаддык» было вычеркнуто из всех книг? Из всех учебников? И, представьте себе, в наши дни молодые люди, которые, казалось бы, не должны ничего знать о нем, идут на смерть с его портретами в руках. Вот вам пример того, чем чревата попытка вычеркнуть кого-либо из истории. Но шах этого не понимал. Он не понимал, что уничтожить

человека физически еще не значит его убить. Может случиться так, что он еще «больше начнет существовать», если можно так выразиться. Это один из тех парадоксов жизни, с которыми ни один деспот не сможет ничего поделаться. Махнет косой, а трава снова вырастает, махнет снова – она еще выше. Вот такой утешительный закон природы. Мосаддык! Англичане называли его фамильярно – Старый Мосси. Они были на него очень злы, но все-таки по-своему уважали. Ни один англичанин не выстрелил в него. Для этого надо было звать наших родных подонков в мундирах. В течение нескольких дней они навели свои порядки! Мосси посадили в тюрьму на три года. Пять тысяч человек поставили к стенке, а то и просто перебили на улицах. Вот вам цена спасения трона. Грустное, кровавое и грязное *entr ee*. Вы спрашиваете, неизбежно ли было поражение Мосаддыка? Во-первых, он не проиграл, а выиграл. Таких людей измеряют не мерилom правления, а мерилom истории. Это разные вещи. Такого человека можно отстранить от власти, но никто не займет его места в истории, поскольку никто не сможет вычеркнуть его из памяти народа. Память – частная собственность, куда власти входа нет. Мосси говорил, что земля, по которой мы ходим, наша, и все, что находится в этой земле, тоже наше. До него в Иране никто не высказывал подобных идей. А еще он говорил: «Пусть все говорят то, что думают, пусть выскажутся. Я хочу слышать ваши мысли». Понимаете, после двух с половиной тысяч лет деспотического унижения Мосси вернул нашему человеку ощущение того, что он – существо думающее. Этого никогда не делал ни один правитель! Слова Мосси запомнились, остались в сердцах людей и живут там и поныне. Мы всегда лучше запоминаем те слова, которые открывают нам глаза на мир. А это были именно такие слова. Разве кто-нибудь может сказать, что дела и слова Мосаддыка были неверными? Ни один порядочный человек так не скажет. Сегодня все твердят, что он был прав, только проблема заключалась в том, что прав он был преждевременно. А этого делать нельзя, иначе вы рискуете собственной карьерой, а иногда и жизнью. Каждая правота долго зреет, а люди в это

время гибнут или блуждают в темноте. Но однажды приходит некий человек и говорит правильные вещи, хотя они не стали еще очевидной правдой, – и тогда против такого еретика встает власть и приказывает сжечь его на костре, посадить в тюрьму, отправить на виселицу, поскольку он угрожает ее интересам, нарушает ее покой. Мосси выступил против диктатуры монархии и зависимости страны. Сегодня монархии рушатся одна за другой, а зависимость скрывают под тысячей масок, иначе она может вызвать ярый протест. Он сказал об этом тридцать лет назад, когда никто здесь не осмеливался говорить о таких очевидных вещах. Я видел его за две недели до смерти. Когда? Примерно в феврале шестьдесят седьмого года. Последние десять лет жизни он провел под домашним арестом в небольшом поместье под Тегераном. Разумеется, вход туда был воспрещен, всю территорию охраняла полиция. Но вы же знаете: в Иране, имея деньги и знакомства, можно решить любой вопрос. Деньги способны превратить любую вещь в растягивающуюся во все стороны резину. Мосси тогда было почти девяносто лет. Думаю, он держался так долго, потому что очень хотел дождаться момента, когда сама жизнь подтвердит его правоту. Он был жестким человеком, тяжелым в общении и не любившим уступать. Такие люди не могут и, вероятно, не умеют уступать. Он до конца сохранил ясный ум, а вот ходил с трудом, опираясь на трость. Останавливался и ложился на землю, чтобы отдохнуть. Полицейские, охранявшие его, рассказывали, что однажды утром во время прогулки он, как обычно, лег на землю и долго не вставал, а когда они подошли ближе, он был уже мертв.

Из записей (2)

Нефть разжигает необычайные эмоции и страсти, потому что прежде всего нефть – великое искушение. Искушение легко заработать, получить богатство и силу, удачу и власть. Эта грязная, вонючая жидкость брызжет вверх, а потом ниспадает на землю в виде шелестящего дождя денег. Человек, владеющий месторождением, чувствует себя так, будто после долгого блуждания

по подземелью он нашел царские сокровища. Этот счастливчик становится богачом, и при этом у него появляется странная уверенность, что некая высшая сила вовсе не случайно именно на нем благосклонно остановила свой ласковый взор, вознесла над другими и сделала своим фаворитом. Есть множество фотографий, на которых запечатлена минута, когда из буровой скважины бьет фонтан нефти: люди прыгают от счастья, обнимаются и плачут. Трудно представить себе рабочего, находящегося в состоянии эйфории после того, как он закрутил очередную гайку, или изнуренного крестьянина, идущего за плугом, приплясывая от радости. Нефть же создает иллюзию абсолютно другой, легкой жизни – жизни без труда. Она отравляет мысли, замутняет сознание, деморализует. Жители бедных стран только и думают: «Господи, если бы у нас была нефть!» Мечта о нефти четко отражает стремление людей к богатству, пришедшему случайно, а не добытому кровью и потом, муками и каторжным трудом. В этом смысле нефть – сказка и, как каждая сказка, ложь. Нефть заражает человека высокомерием, и он начинает верить в то, что можно легко разрушить даже столь неподатливую и неуступчивую категорию, какой является время. «Имея нефть, – говаривал один шах, – я на протяжении жизни одного поколения создам вторую Америку!» Не создал. Нефть сильна, но у нее есть и слабые стороны: она не учит думать, не учит мудрости. Одним из достоинств нефти, более всего прельщающих и искушающих сильных мира сего, является то, что она укрепляет власть. Нефть приносит большие доходы, однако в ее добыче принимает участие не так уж много людей. Нефть в общественном смысле не доставляет особых проблем, так как не порождает ни многочисленного пролетариата, ни многочисленной буржуазии; правительству не нужно с кем-то делиться доходами, оно вольно распоряжаться ими по своему усмотрению. Стоит посмотреть на министров из нефтяных стран: как высоко они держат голову, какое у них ощущение силы! Это они, энергетические магнаты, решают, будем ли мы завтра ходить пешком или же ездить на машинах. А нефть и мечеть? Сколько жизнерадостности, блеска

и значимости добавило это внезапное богатство их религии – исламу, переживающему сегодня период усиленной экспансии и постоянно привлекающему к себе толпы верующих.

Из записей (3)

Мой собеседник говорит, что история с шахом прошла в лучших иранских традициях. С незапамятных времен царствование любого шаха заканчивалось самым позорным и жалким образом. Ему либо отрубали голову, либо вонзали нож в спину, а если ему все же везло в этом смысле, то он, спасаясь от смерти, вынужден был бежать и умирал в изгнании, всеми забытый и брошенный. Возможно, бывали и исключения, когда шах умирал естественной смертью, а при жизни был окружен любовью и уважением. Однако мой знакомый не помнит, чтобы народ сожалел о каком-нибудь шахе и шел за его гробом со слезами на глазах. В любом случае в нашем веке все шахи – а было их несколько – теряли трон и умирали при самых неблагоприятных обстоятельствах. Народ считал их тиранами, обвинял в низости, их уход сопровождался проклятиями и оскорблениями, а весть об их смерти становилась настоящим праздником.

(Я говорю ему, что мы никогда не поймем этого, поскольку наши народы являются носителями абсолютно разных традиций. Польскими королями были в основном люди, не жаждавшие крови, и народ сохранил о них добрую память. Один наш король принял страну деревянной, а оставил каменной, другой провозгласил принцип толерантности и не разрешал сжигать на кострах еретиков, третий защитил нас от засилия варваров. Был король, награждавший ученых, был тот, что дружил с поэтами. Даже их прозвища – Обновитель, Щедрый, Справедливый, Набожный – свидетельствуют о том, что люди относились к ним с уважением и симпатией. Поэтому в моей стране, если люди слышат, что к какому-нибудь монарху судьба оказалась слишком жестокой, они инстинктивно переносят на него чувства, корнями уходящие в совершенно другую традицию, другой опыт, и относятся к казненному правите-

лю с той сентиментальностью, с какой они вспоминают своих Обновителей и Справедливых, и думают: каким же несчастным был человек, которого так безжалостно свергли!)

– Да, – признает он, – очень трудно представить себе, что где-то может быть по-другому и что убийство монарха народ может считать наиболее оптимальным и даже Богом посланным решением. Разумеется, и у нас были прекрасные шахи, такие, как Цирус и Аббас, но очень давно. Последние же две династии, дабы завладеть тронем или удержаться на нем, пролили много невинной крови. Представь себе шаха – а звали его Ага Мохаммед Хан, – в борьбе за трон приказавшего уничтожить (и ослепить уцелевших) население целого города Кермана. Он не сделал исключений ни для кого, а его преторианцы со страстью взялись за дело. Выстроив жителей в ряды, взрослым отрезали головы, а детям выкалывали глаза. Но в конце концов, несмотря на полагающиеся перерывы на отдых, преторианцы так устали, что не в силах были поднять руки. Только благодаря этому некоторые остались живыми и зрячими. И вот из города в разные стороны побрели процессии ослепленных детей. Они странствовали по Ирану, часто сбиваясь с пути и умирая от жажды. Некоторым группкам детей удавалось добраться до людских поселений, где они просили еду и пели песни, в которых рассказывалось об убийствах, совершенных в городе Кермане. В те времена новости распространялись медленно, поэтому люди приходили в ужас, слушая хор босоногих слепцов, исполняющих страшную песню о свистящих мечах и падающих головах. Они спрашивали: за какое преступление так жестоко наказал шах этот город? И дети пели песню о преступлении, заключавшемся в том, что их отцы дали прибежище предыдущему шаху, чего новый им не простил. Шествие слепых детей повсюду вызывало жалость, и люди не могли отказать им в еде, однако кормили несчастных тайком, поскольку маленькие слепцы были наказаны, находились на плохом счету у шаха и посему представляли собой разновидность бродячей оппозиции, а любая поддержка оппозиции каралась самым серьезным образом. Посте-

пенно к процессии присоединялись зрячие дети, которые становились проводниками маленьких слепцов. Теперь они странствовали вместе в поисках еды и убежища от холода, рассказывая об уничтожении города Кермана в самых отдаленных деревнях.

– Эти страшные и жестокие истории, – говорит он, – мы храним в памяти. Шахи завоевывали трон с помощью силы, входили на него по трупам, под плач матерей и стоны умирающих. Зачастую вопрос о преемственности нашего трона решался в далеких столицах, и новый претендент на корону входил в Тегеран, поддерживаемый под локти британским послом с одной стороны и русским – с другой. Такие шахи воспринимались как узурпаторы и оккупанты, а человеку, знающему об этой традиции, было понятно, почему муллам удалось организовать против них столько восстаний. Муллы говорили, что во дворце сидит чужак, человек, выполняющий указания чужих государств. «Сидящий на троне – причина ваших несчастий, он копит богатство за ваш счет и распродает страну». Люди слушали внимательно, ведь слова священников звучали для них как очевидная истина. Я не хочу сказать, что муллы были святыми. Куда уж там! Много темных сил скрывалось в тени мечетей. Однако злоупотребление силой, беззакония со стороны дворца делали мулл защитниками народного дела.

Рассказчик возвращается к судьбе последнего шаха.

– Тогда, в Риме, во время недолгой эмиграции, шах понял, что может навсегда потерять трон и пополнить экзотические ряды странствующих монархов. Эта мысль отрезвила его. Он решил изменить свою жизнь, проходящую в развлечениях и удовольствиях. (Позже в своей книге шах напишет, что в период пребывания в Риме во сне ему явился святой Али и сказал: «Возвращайся на родину, спасай народ».) В шахе пробудилось огромное желание показать свою силу и превосходство. А это тоже очень иранская черта. Один иранец никогда не уступит другому, каждый уверен в своем превосходстве и хочет быть первым, самым главным, навязать свое исключительное я. «Я! Я! Я знаю лучше, у меня больше, я могу все.

Мир начинается с меня, я сам для себя – весь мир. Я! Я!» (Он хочет изобразить мне это: встает, поднимает голову, смотрит свысока, во взгляде его высокомерие, восточная нарочитая гордость.) Иранцы всегда строят отношения по принципу иерархии. «Я – первый, ты – второй, а он вообще третий». Но второй и третий не хотят довольствоваться своим положением и немедленно начинают плести интриги, строить планы, пытаются занять место первого. О, этот первый должен хорошо окопаться, чтобы его не сбросили с вершины!

Окопаться и поставить пулеметы!

Подобные правила царят и в семье. Поскольку я на высшем уровне, женщина должна быть на низшем. Вне дома я могу быть полным нулем, но под крышей собственного дома я это компенсирую – тут я главный. Здесь я властвую безраздельно, а границы власти и авторитарность тем шире и больше, чем многочисленнее семья. Хорошо, если у тебя много детей – есть кем править. Человек становится властелином домашнего государства, вызывает тем самым уважение близких и их восхищение, решает споры, даже судьбы подвластных ему людей, навязывает свою волю. (Он наблюдает, какое впечатление произвели на меня его слова. Однако я решительно протестую. Я против таких стереотипов. Я знаю множество его соотечественников – скромных и учтивых – и не заметил, чтобы они относились ко мне как к низшему.)

– Все так, – соглашается он, – потому что ты не представляешь для нас угрозы. Ты не принимаешь участия в нашей игре – кто выше поставит свое «я». Из-за этой игры в Иране никогда не существовало ни одной нормальной партии, поскольку сразу же возникали ссоры из-за того, кто будет ею руководить, каждый хотел основать свою собственную партию. Вот и шах после возвращения из Рима со всей решительностью начал игру за высшее «я».

Прежде всего шах попытался вернуть себе лицо, поскольку потеря лица в нашей традиции считается большим позором. Монарх, отец народа, в критический момент бежит из страны, ходит по магазинам и покупает жене украшения! А ведь он должен производить со-

всем другое впечатление. Поэтому, когда Захеди посылает ему депешу о том, что танки сделали свое дело, и уговаривает его вернуться, заверив, что опасность миновала, шах задерживается в Ираке и фотографируется у надгробия халифа Али, покровителя шиитов. Да, наш святой возвращает его на трон и благословляет.

Религиозный жест – вот чем можно купить наш народ.

Итак, шах возвращается, но в стране по-прежнему неспокойно. Студенты протестуют, на улицах демонстрации, стрельба, похоронные процессии. В самой армии царят конфликты, заговоры и распри. Шах боится выходить из дворца – слишком много людей жаждет его смерти. Он живет, окружив себя семьей, придворными и генералами. После отстранения Мосаддыка Вашингтон начинает присылать много денег, половину которых шах тратит на армию. Он все чаще будет делать ставку на армию и окружать себя военными. (Та же ситуация обычно складывается и в других монархиях, где, подобно Ирану, царит военная диктатура, а правители купаются в золоте и бриллиантах.)

Солдатам же дают мясо и хлеб. Ты должен понимать, в какой бедности живут наши люди и что значат эти мясо и хлеб, как они возносят солдата над остальными.

В те годы дети бегали со вздутыми животами: они питались травой.

Я помню человека, который своему ребенку прижег сигаретой веко, глаз вздулся и стал гноиться – лицо малыша выглядело ужасно. Себе же этот человек мазал руку какой-то мазью, в результате чего она распухла и почернела. Таким образом он надеялся вызвать к себе жалость окружающих в надежде, что кто-нибудь из них даст им поесть.

– В детстве единственной моей игрушкой были камни, – рассказывает мой собеседник. – Я тянул камень за веревочку и представлял себя конем, а камень – позолоченной каретой шаха.

На протяжении следующих двадцати пяти лет шах укрепляет власть. Начало правления оказалось очень трудным, и многие не верили, что он долго про-

будет у власти. Американцы сохранили ему трон, однако по-прежнему сомневались, правильный ли выбор они сделали. Шах тянется к американцам, поскольку, не чувствуя себя сильным в собственной стране, нуждается в их поддержке. Он постоянно ездит в Вашингтон, проводит там целые недели, беседует, убеждает и уверяет. Но и другие также ездят туда и уверяют. Начинаются соревнования нашей элиты в Америке, аукцион предложений и гарантий, распродажа страны.

У нас возникает полицейское государство, появляется САВАК. Первым шефом САВАК станет дядя Сорейи, генерал Бахтияр. Со временем шах начнет опасаться, что дядя как человек сильный и решительный, совершит переворот и лишит его власти. Поэтому вскоре он снимает генерала с должности, а впоследствии приказывает расстрелять его.

Повсюду царит атмосфера чисток, страха и террора. Ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне. Нет спокойствия, в воздухе пахнет порохом, революцией. В Иране всегда беспокойно, над страной постоянно висит черная туча.

Из записей (4)

Президент Кеннеди обратился с призывом к шаху и другим диктаторам, находящимся с ним в дружественных отношениях, провести в своих странах реформы. В противном случае им угрожает судьба Фульдженсио Батисты (Америка в то время, в 1961 году, находится под впечатлением от победы Фиделя Кастро и не хочет, чтобы подобное произошло в других странах). По мнению Кеннеди, этой неприятной перспективы можно избежать, если диктаторы проведут маломальские реформы и пойдут на уступки, которые выбьют оружие из рук агитаторов, призывающих к красным революциям.

В ответ на призывы и уговоры Вашингтона шах объявил о своей Белой Революции. Мохаммед Реза в обращении президента Соединенных Штатов услышал много полезного для себя. Он стремился к достижению двух целей (к сожалению, обе были абсолютно нереаль-

ными): усилить власть и увеличить собственную популярность.

Шах принадлежал к тому типу людей, для которых похвалы, восхищение, обожание и признание – жизненная необходимость, средство, питающее их безвольные, неуверенные и вместе с тем пустые натуры. Без этой постоянно возносящей их волны они не могут ни существовать, ни действовать. Иранскому монарху необходимо читать о себе только восторженные отзывы, видеть свое изображение на первых страницах газет, на экранах телевизоров, даже на обложках школьных тетрадей. Ему необходимо видеть лица, сияющие при виде монарха, слышать слова восхищения и признания. Он мучается, злится, если в этой осанне (а она должна раздаваться на весь мир) слышится какой-нибудь раздражающий его ухо тон, и потом помнит о нем годами. Об этой его слабости знают все придворные, а дипломаты занимаются главным образом затушевыванием самой незначительной критики, даже если она звучит из таких слабых стран, как Сальвадор или Того, или произносится на таких редких языках, как занди или оромо. Тут же следуют негодования, протесты и разрыв отношений. Это страстное и даже маниакальное преследование по всему свету любых скептиков привело к тому, что мир (за редкими исключениями) не знал, что на самом деле происходит в Иране. Страна с такой сложной, драматической, полной страданий и кровопролитий историей представлялась миру именным тортом, покрытым розовой глазурью. Возможно, здесь действовал механизм компенсации: шах искал в мире того, чего не мог найти в собственной стране, – признания, почитания. Он чувствовал, что непопулярен и нелюбим.

И вот подворачивается случай провести земельную реформу и объединить вокруг себя крестьян, дав им земли. Чьи земли? Землей владеют шах, феодалы и духовенство. Если феодалы и духовенство потеряют землю, то их власть ослабнет. В деревне утвердит свое положение государство – и тем самым укрепит позиции шах. Все просто. Однако непросто все, что делает шах. Его действия характеризуются запутанностью и поло-

винчатостью. Оказывается, феодалы должны отдать землю, но это касается только части феодалов и части их земель (за щедрый выкуп, разумеется). Землю, оказывается, получит лишь небольшая часть крестьян, причем уже владеющих землей (большинство же крестьян ею не владеет).

Шах подает личный пример и объявляет об отказе от своих земель. Он ездит и раздает крестьянам акты на право владения землей. На фотографиях он, добродетель, стоит с охапкой бумаг (теми самыми актами), а крестьяне, упав на колени, целуют ему ноги.

Однако вскоре разразился скандал!

Отец шаха, используя имеющуюся у него власть, присвоил себе множество феодальных и церковных земель. После ухода отца парламент принял указ, по которому земли, приобретенные Реза Ханом нелегально, должны быть возвращены их собственникам. И теперь его сын отдает как свои земли, имеющие настоящих владельцев, да еще берет за это огромные деньги, объявляя при этом себя великим реформатором.

Но если бы только это! Шах, защитник прогресса, забирает землю у мечетей. Ведь идет реформа, все должны пожертвовать чем-нибудь ради улучшения доли крестьянина. Набожные мусульмане, согласно заповедям Корана, на протяжении жизни отписывают мечетям часть своих владений. Земли, принадлежащие мечетям, так велики и хороши, что шах решил обобрать священников и улучшить тем самым жизнь деревенской бедноты. К сожалению, вскоре разразился новый скандал. Оказывается, земли, изъятые у духовенства под громким девизом реформы, шах раздал своим приближенным – генералам, полковникам и придворным. Весть об этом вызвала у народа такой гнев, что достаточно было подать сигнал, чтобы вспыхнула очередная революция.

Из записей (5)

– Нужен был только повод, – рассказывает мой собеседник, – чтобы выступить против шаха. Народ хотел избавиться от диктатора, свергнуть его, раз уж представляется такая возможность. Иранцы разгада-

ли игру шаха, и это вызвало волну возмущения. Люди понимали, что правитель хочет усилить власть, укрепив тем самым диктатуру, и не желали позволить ему это. Они также понимали, что Белая Революция навязана им сверху, и цель ее исключительно политическая, выгодная только шаху. Все стали поглядывать в сторону Кума. В нашей истории всегда, когда наступал кризис и возникало недовольство, люди начинали прислушиваться к тому, что скажет Кум. Первый сигнал поступал оттуда.

А Кум уже лихорадило.

Ко всему прочему произошло еще одно событие. В то время шах признал всех американских военных и их семьи дипломатически неприкосновенными. В нашей армии уже тогда было много американских экспертов. Муллы заявили, что это противоречит принципу суверенности. И вот тогда Иран впервые услышал аятоллу Хомейни. Раньше его никто не знал, то есть никто, кроме жителей Кума. Уже тогда ему было за шестьдесят, и по возрасту он годился шаху в отцы. Позже при обращении к монарху аятолла часто будет называть его сыном – конечно, с иронией и гневом в голосе. Хомейни выступил против шаха очень резко. «Люди, – призывал он, – не верьте ему, это не ваш человек! Он не думает о вас, он думает только о себе и о тех, кто отдает ему приказы. Он продает нашу страну, продает нас всех! Шах должен уйти!»

Полиция арестовала Хомейни. В Куме люди вышли на демонстрации, требуя освобождения аятоллы. Следом восстали Тегеран, Тебриз, Мешхед, Исфахан. Шах вывел на улицы войска, и началась бойня (тут мой собеседник встает, вытягивает руки вперед и сжимает ладони таким образом, будто держит в руках пулемет. Он прищуривает правый глаз и имитирует стрельбу.) Был июнь 1963 года, – продолжает рассказчик. – Восстание длилось пять месяцев. Во главе его стояли демократы из партии Мосаддыка и духовенство. Результат – более десяти тысяч убитых и раненых. Потом на несколько лет наступила тишина, но никогда она не была абсолютной, так как постоянно вспыхивали какие-то бунты, возникали стычки. Хомейни выгоняют

из страны, и он поселяется в Ираке, в крупнейшем шиитском городе Эн-Наджафе, где находится могила Халифа Али.

Я пытаюсь понять, на чем основывалась популярность Хомейни? Ведь в то время было множество более авторитетных, известных аятолл и выдающихся политиков, выступавших против шаха. Мы все писали протесты, манифесты, письма и воззвания, которые читала маленькая группа интеллигентов. Легальная публикация была невозможной, а кроме того, основная часть общества не умела читать. Мы критиковали шаха, говорили, что все плохо, требовали перемен и реформ, большей демократии и справедливости. Но никому не приходило в голову поступить так, как Хомейни, то есть бросить всю писанину, петиции, резолюции и требования. Остановиться, встать перед народом и сказать: шах должен уйти!

По сути, это единственное, что сказал тогда Хомейни и повторял затем на протяжении пятнадцати лет. Простая фраза, которую мог запомнить каждый, но понадобилось пятнадцать лет, чтобы ее смогли еще и понять. Ведь институт монархии казался столь же естественным, как воздух, и никто не мог представить себе жизни без него.

Шах должен уйти!

Не обсуждайте это, не болтайте, не исправляйте, не спасайте. Это бессмысленно и ничего не изменит, бесплодный труд и иллюзия. Дальше мы можем идти только по руинам монархии, другого пути нет.

Шах должен уйти!

Не ждите, не теряйте времени, очнитесь.

Шах должен уйти!

Когда он сказал эту фразу впервые, она прозвучала, как призыв маньяка, крик безумца. Тогда монархия еще не изжила себя, но сейчас спектакль постепенно подходил к концу, близился эпилог. Тут-то все вспомнили призывы Хомейни и пошли за ним.

Фотография (8)

Группа людей стоит на автобусной остановке в Тегеране. Во всем мире те, кто ждет автобуса, выгля-

дят одинаково: у них апатичные и усталые лица, застывшая, полная ожидания поза, тусклые и пустые глаза. Человек, когда-то давший мне эту фотографию, спросил, вижу ли я на ней что-нибудь особенное.

– Нет, – ответил я, подумав, – ничего такого я не вижу.

Он сказал, что фотографировали из укрытия, то есть из окна дома, расположенного на противоположной стороне улицы. Следует обратить внимание на человека (на вид это неприметный чиновник низшего ранга), стоящего поблизости от троих мужчин и явно прислушивающегося к их беседе. Он работал в САВАК и всегда дежурил на этой остановке, подслушивая, о чем говорят люди в ожидании автобуса. Содержание этих разговоров обычно было пустым – люди говорили только о чем-то незначительном, но и среди самых общих тем следовало выбирать такую, в которой полиция не смогла бы усмотреть какой-либо скрытый намек. САВАК была восприимчива к любым намекам. Однажды в жаркий полдень к остановке подошел пожилой мужчина с больным сердцем и сказал вздыхая:

– Так душно, что просто нечем дышать.

– Вот именно, – сейчас же подхватил разговор дежуривший саваковец, подходя к утомленному человеку, – становится очень душно, людям не хватает воздуха.

– Ой, что правда, то правда, – подтвердил наивный старик, держась за сердце, – воздух тяжелый, и духота ужасная!

В тот же миг агент выпрямился и сухо сказал:

– Сейчас к вам вернутся силы. – И, не говоря больше ни слова, арестовал старика. Стоявшие на остановке люди с ужасом наблюдали за происходящим, поскольку с самого начала, оценив ситуацию, видели, что больной пожилой человек совершает непростительную ошибку, используя в разговоре с незнакомцем слово «душно». Опыт научил их, что следует избегать громкого произнесения слов типа *духота, темнота, тяжесть, пропасть, завал, болото, разложение, клетка, решетка, цепь, кляп, палка, сапог, вздор, винт, карман, лапа, безумие*, а также глаголов *лечь, лежать, раскорячиться, одуреть, чахнуть, слабеть, слепнуть, глохнуть*,

погружаться и оборотов с местоимением «что-то»: *что-то здесь неладно, что-то здесь не складывается, что-то здесь не так, сейчас что-то будет*. Все существительные, глаголы, прилагательные и местоимения могли содержать намеки на режим шаха, то есть были семантическим минным полем, на которое стоит только ступить, и сразу взлетишь на воздух. В какой-то момент люди на остановке засомневались, не является ли этот больной также служащим охраны? Раз он критиковал режим (использовал в разговоре слово «душно»), не означает ли это, что ему разрешено критиковать? Ведь если бы у него не было на это разрешения, он молчал бы или говорил о чем-то приятном, например, о том, что светит солнце и автобус обязательно приедет. А кто имел разрешение на критику? Только саваковцы, провоцировавшие таким образом неосторожных болтунов и отправлявшие их затем в тюрьму. Вездесущий страх помутил рассудок и пробудил в людях такую подозрительность, что они вообще перестали верить в порядочность, чистоту и мужество других. Самих себя они считали людьми порядочными, однако не решались как-то выразить свое мнение и тем более возмутиться, зная, какое жестокое наказание может за этим последовать. Посему, если кто-то критиковал или осуждал шаха, все думали, что он имеет на это особое разрешение и действует со злым умыслом: чтобы разоблачить тех, кто ему поддакнет, а потом их уничтожить. Чем острее и точнее кто-то выражал свои мысли, которые они скрывали, тем более подозрительным он им казался и тем скорее они от него отдалялись, предупреждая о нем близких: «Будьте осторожны, это подозрительный тип, уж больно много он себе позволяет». Таким образом, страх торжествовал и изначально обрекал на недоверие и осуждение со стороны окружающих тех, кто из лучших побуждений хотел противостоять насилию. Под влиянием страха ум человеческий дегенерировал настолько, что каждый в чьей-то смелости готов был увидеть лишь подвох, а в мужестве – коллаборационизм. Однако, увидев, как жестоко тип из САВАК обращается со своей жертвой, люди на остановке поняли, что больной человек не мог иметь ничего общего с полицией.

Вскоре оба исчезли из виду, а вопрос: «Куда они пошли?» – остался без ответа. Ведь никто не знал, где именно располагалась охранка шаха. У этой службы не было определенной штаб-квартиры, она была разбросана по всему городу (по всей стране), была везде и нигде одновременно. Она занимала ничем не примечательные дома, особняки и квартиры. На них отсутствовали надписи или висели названия не существующих фирм и учреждений. Номера телефонов были известны только посвященным. САВАК занимала комнаты в обычных жилых корпусах, а войти туда можно было только через какой-нибудь магазин, прачечную или ночной клуб. В таких условиях все стены могли иметь уши, а двери, калитки и ворота могли вести в помещение САВАК. Попавшие в руки этой полиции надолго (или навсегда) пропадали без вести. Пропадали внезапно, никто не знал, что с ними произошло, где их искать, куда идти, кого спрашивать, кого молить о милосердии. Может, посадили в тюрьму, но в которую? Их было шесть тысяч. И постоянно в них сидели, по утверждению оппозиции, сто тысяч политзаключенных. Перед людьми вырастала невидимая и непробиваемая стена, перед которой они беспомощно стояли, не в состоянии сделать и шага. Иран был государством САВАК, но САВАК действовала в стране как подпольная организация – без конкретного адреса, она появлялась и исчезала, заметая за собой следы. В то же время некоторые ее подразделения существовали официально. Через цензуру САВАК проходила вся пресса, каждая книга и каждый фильм. (Именно САВАК запретила ставить пьесы Шекспира и Мольера, так как в них разоблачались пороки монархов.) САВАК хозяйничала в вузах, учреждениях и на заводах. Это был разросшийся во все стороны спрут, который оплетал все, заползал в любую щель, повсюду лепил свои присоски, рыскал, вынюхивал, крутился и шарил. У САВАК было шестьдесят тысяч агентов. Кроме того, у тайной полиции, как потом подсчитали, было около трех миллионов информаторов, доносивших по любому поводу, лишь бы заработать, спасти свою жизнь, получить работу или повышение. САВАК покупала людей или же обрекала их на мучения, давала

человеку положение или сажала в тюрьму. Она решала, кто является врагом и кого надо уничтожить. Такой приговор не подлежал кассации, на него не подавались апелляции. Только шах мог спасти осужденного. САВАК держала ответ исключительно перед монархом. Все были бессильны перед лицом этой страшной полиции.

Обо всем этом было известно людям на остановке, и после исчезновения больного человека и саваковца они продолжают молчать. Украдкой поглядывают друг на друга, гадая, не доносчик ли стоящий рядом человек. Может, он как раз возвращается с беседы, на которой ему сказали, что в случае, если он что-нибудь заметит, услышит и сообщит об этом куда надо, то его сын сможет поступить в вуз. Или, если он что-нибудь услышит, заметит и сообщит об этом, в его документах вычеркнут пометку о том, что он находился в оппозиции. «Так ведь я не в оппозиции!» – защищается он. «В оппозиции. У нас записано – в оппозиции». И невольно (хотя некоторые и стараются это скрыть, чтобы не спровоцировать взрыва агрессии) люди на остановке смотрят друг на друга с отвращением и ненавистью. Все они предрасположены к невротическим, чересчур бурным реакциям. Их постоянно что-то раздражает, где-то рядом плохо пахнет, все отодвигаются друг от друга и ждут, кто кого первым зацепит, кто на кого первым набросится. Взаимное недоверие – следствие действий САВАК, годами нашептывавшей каждому, что все работают на САВАК. Этот, этот, этот и тот. А этот тоже? Этот? Конечно. Все! Но, с другой стороны, может, эти люди на остановке – люди порядочные, и их потрясение, старательно спрятанное за молчанием и каменным выражением лица, вызвано тем, что минуту назад САВАК была столь близко, а также осознанием того факта, что если бы хоть на миг их подвел инстинкт самосохранения и они по неосторожности заговорили бы на какую-нибудь двусмысленную тему, скажем, о рыбе (например, что в такую жару рыба быстро портится, и есть у нее одно престранное свойство: эта тварь начинает портиться с головы, которая воняет хуже всего, и ее надо немедленно отрезать, чтобы спасти все остальное), так вот, если бы они затронули такого рода кулинарную

тому, то могли бы разделить несчастливую судьбу державшегося за сердце человека. Но пока они свободны, пока спасены и продолжают стоять на остановке, вытирая пот и теребя мокрые рубашки.

Из записей (6)

Виски в условиях конспирации (а конспирироваться надо, ведь царит сухой закон, введенный Хомейни), как каждый запретный плод, приобретает дополнительный притягательный вкус. Однако в стаканах всего по несколько капель, и хозяева достали запрятанную подальше последнюю бутылку – следующую уже нигде будет купить. В эти дни в Иране умирают последние алкоголики. Из-за отсутствия водки, вина, пива и тому подобного они вливают в себя какие-то растворители и умирают.

Мы сидим на первом этаже маленькой, но уютной, ухоженной виллы. Сквозь раздвинутые стеклянные двери виден садик и стена высотой в три метра, отделяющая домовладение от улицы и увеличивающая сферу интимности, образуя стены внешнего дома, в который встроены внутренний жилой дом. Обоим хозяевам примерно по сорок лет, они получили высшее образование в Тегеране и работают в одном из турбюро (которых здесь, учитывая безумную подвижность их соотечественников, сотни).

– Мы женаты больше десяти лет, – говорит хозяин (у него уже начинают седеть волосы), – но только сейчас мы стали разговаривать с женой о политике. Никогда раньше мы не говорили на эту тему. Та же ситуация – во всех известных мне семьях.

Нет, хозяин не хочет этим сказать, что они с женой не доверяли друг другу. И никакой особой договоренности у них тоже никогда не было. Это молчаливое соглашение, которое они приняли вместе практически подсознательно, возникло в результате некоторых представлений о человеческой природе: никогда не известно, к примеру, как поведет себя человек в критической ситуации. К чему его могут принудить, к какой клевете, измене.

– Вся беда в том, – вступает в разговор хозяйка дома; несмотря на царящий полумрак, четко видны ее большие блестящие глаза, – что никто заранее не знает, в какой степени он выдержит пытки. И вообще выдержит ли. А САВАК – это прежде всего жуткие пытки. Их метод заключался в том, что они похищали идущего по улице человека, завязывали ему глаза и, ни о чем не спрашивая, везли прямо на допрос. Там сразу приходилось испытывать весь ужас камеры пыток: людям дробили кости, вырывали ногти, обжигали в печи руки, пилили по живому череп, совершали десятки других зверств, и только когда обезумевший от боли человек превращался в окровавленную развалину, они начинали устанавливать его личность. Имя? Фамилия? Адрес? Что ты говорил о шахе? Что? А он мог вообще ничего не говорить, он мог быть абсолютно невиновным человеком. Невиновный? Ничего, что невиновный. Главное, все будут бояться, виновные и невиновные, все будут запуганы, никто не будет чувствовать себя в безопасности. Террор САВАК заключался в том, что они могли схватить любого, мы все были виновными, поскольку обвинение касалось не поступков, а намерений, которые САВАК могла приписать каждому. Ты выступал против шаха? Нет, не выступал. Значит, хотел выступить, мерзавец! Этого было достаточно.

– Иногда устраивались показательные процессы. Для политических (но кто именно был политическим – в Иране всех считали политическими) существовали только военные суды. Закрывшие заседания, ни защиты, ни свидетелей, вынесение приговора, потом его исполнение. Разве кто-нибудь сможет посчитать, сколько людей расстреляла САВАК? Наверняка сотни. Наш великий поэт Хосро Голесорхи расстрелян. Наш выдающийся режиссер Керамат Денахиан расстрелян. Десятки писателей, профессоров и художников сидели в тюрьмах. Десятки других вынуждены были эмигрировать. В САВАК работали неучи, невероятно жестокие и циничные подонки, и если в их руки попадал человек, любивший книги, то над ним издевались особенно изощренно.

– По-моему, САВАК не любила процессы и трибуналы. Она предпочитала другой метод: чаще всего уби-

вали из укрытия. Позже ничего нельзя было доказать. Кто убил? Неизвестно. Где виновные? Нет виновных.

– В конце концов люди не смогли больше терпеть этот произвол и голыми руками бросились на армию и полицию. Называйте это отчаянием, но нам уже было все равно. Весь народ выступил против шаха, потому что для нас САВАК – это шах, его уши, глаза и руки.

– Знаете, когда речь заходила о САВАК, уже через час человек смотрел на своего собеседника и начинал думать: «Может, он тоже из САВАК»? Эта мысль никак потом не выходила из головы. А ведь этим собеседником мог быть отец, муж, лучшая подруга. Я говорила себе: «Опомнись, это же полная чушь», – но ничего не помогало, мысль не покидала меня. Все было ненормальным, потому что сам режим был ненормальным, и, честно говоря, я понятия не имею, когда мы исцелимся от всего и к нам вернется равновесие. После стольких лет диктатуры мы психически изуродованы, и я думаю, что должно пройти много времени, прежде чем мы начнем жить нормально.

Фотография (9)

Эта фотография висела на доске объявлений рядом с лозунгами, воззваниями и другими фотографиями перед зданием революционного комитета в Ширазе. Я попросил одного студента перевести мне написанный от руки и прикрепленный к снимку кнопками комментарий.

– Здесь написано, – сказал он, – что этому мальчику три года, его зовут Хабиб Фардуст и что он был узником САВАК.

– Как это узником? – спросил я.

Он ответил, что были случаи, когда САВАК сажала целые семьи – это именно тот случай. Он прочитал комментарий до конца и добавил, что родители мальчика погибли от пыток. Сейчас издается много книг на тему преступлений САВАК, основанных на различных документах полиции и рассказах людей, переживших пытки. Я даже видел (что меня особенно потрясло) продаваемые перед университетом цветные открытки с изображением изуродованных тел жертв САВАК. Все, как

во времена Тимура, никаких изменений за последние шестьсот лет, та же патологическая жестокость, может, немного более усовершенствованная с точки зрения механики. Наиболее часто в помещениях САВАК в качестве орудия пыток использовался железный стол с электрическим подогревом, названный сковородкой. На него клали жертву, связав ее по рукам и ногам. Много людей погибло на этих столах. Как правило, еще до того, как обвиняемого приводили в помещение пыток, он уже был в полуобморочном состоянии, поскольку в ожидании своей очереди не выдерживал раздававшихся криков и запаха горелого тела. В этом мире кошмара технический прогресс не смог вытеснить «проверенные» средневековые методы. В тюрьмах Исфахана людей бросали в глубокие каменные мешки, где кишели обезумевшие от голода дикие кошки или ядовитые змеи. Истории об этом, порой умышленно распространяемые самими саваковцами, годами пересказывались в обществе и воспринимались с ужасом, поскольку размытый и неопределенный образ врага позволял каждому представить себя в подобной камере пыток. Для иранцев спецслужба шаха была не только силой жестокой и чужой, но и оккупировавшей страну местной разновидностью гестапо.

Во время революции на улицах Тегерана демонстранты пели полную эмоций и пафоса песню «Аллах Акбар», в которой несколько раз повторяется припев:

Иран, Иран, Иран
Хун-о-марг-о-осьян.
(Иран, Иран, Иран –
это кровь, смерть и бунт.)

Трагическое и, возможно, наиболее точное определение Ирана, остающееся актуальным на протяжении многих столетий.

В сентябре 1978 года (в данном контексте важны даты), за четыре месяца до конца своего правления, шах дает интервью корреспонденту еженедельника «Штерн». Тогда как раз исполнилось двадцать лет с момента создания САВАК.

«– Каково число политзаключенных в Иране?»

Шах: – Что вы понимаете под политзаключенными? Однако я догадываюсь, о чем идет речь. Меньше тысячи.

– Вы уверены, что никого из них не пытали?

Шах: – Я как раз издал распоряжение, чтобы пытки прекратили».

Фотография (10)

Фотография сделана в Тегеране 23 декабря 1973 года: шах, окруженный стеной микрофонов, произносит речь в заполненной журналистами зале. Обычно сдержанный и изысканный, сейчас Мохаммед Реза не может скрыть своих эмоций, волнения и даже – как отмечают репортеры – возбуждения. Момент действительно очень важный, и его последствия вскоре испытает на себе весь мир, поскольку шах объявляет новые цены на нефть. Меньше, чем за два месяца, цена нефти выросла в четыре раза, и Иран, которому экспорт этого сырья уже принес пять миллиардов долларов годового дохода, теперь будет получать двадцать. Следует добавить, что единственный, кто распоряжается этими огромными деньгами, – сам шах. В собственной стране он может сделать с ними все, что захочет: выбросить в море, потратить на мороженое или спрятать в золотую шкатулку. Поэтому понятно возбуждение монарха – человеку трудно вообразить, как он себя поведет, внезапно обнаружив в кармане двадцать миллиардов долларов и зная, что теперь каждый год к ним будет прибавляться еще по двадцать, а потом еще и еще. Неудивительно, что с шахом случилось то, что случилось: он потерял голову. Нет бы собрать семью, преданных генералов, доверенных советников и решить, как с умом распорядиться таким богатством, – шах, на которого, по его словам, снизошло озарение, объявляет всем, что за одно поколение он превратит Иран (отсталую, необустроенную, наполовину безграмотную и босоногую страну) в пятую державу мира. Одновременно монарх провозглашает лозунг всеобщего благосостояния, который пробуждает в людях надежду. Поначалу она ка-

жется не совсем уж призрачной, ведь все знают, что шах и вправду получил огромные деньги.

Через несколько дней после пресс-конференции, запечатленной на фотографии, монарх дает интервью корреспонденту еженедельника «Шпигель»:

«– Пройдет десять лет, и мы будем жить не хуже, чем вы – немцы, французы, англичане.

– Вы думаете, – спрашивает с недоверием журналист, – вам удастся сделать это за десять лет?

– Разумеется.

– Но ведь на Западе, – говорит потрясенный журналист, – сменилось много поколений, прежде чем мы достигли того уровня, на котором сейчас находимся! Думаете, вы в состоянии сделать такой скачок в короткий срок?

– Конечно».

Я вспоминаю это интервью сейчас, когда шаха уже нет в Иране и я иду по невероятной, вонючей грязи мимо убогих мазанок маленькой деревни под Ширазом, окруженный толпой полуголых и продрогших детей, а перед одной из хибар какая-то женщина лепит из коровьего навоза круглые лепешки – когда они высохнут (и это в стране нефти и газа!), то будут единственным топливом в доме; так вот, когда я иду по грустной средневековой деревне и вспоминаю интервью шестилетней давности, мне приходит в голову банальнейшая мысль: нет такого бреда, который не в состоянии выдумать человеческий разум.

А пока шах запирается во дворце и принимает сотни указов, которые потрясут Иран, а через пять лет приведут к краху и самого монарха. Так, он приказывает удвоить инвестиции, увеличить импорт технологий и создать третью по уровню технического оснащения армию в мире. Заказывает самое современное оборудование, поручает немедленно установить его и ввести в эксплуатацию – ведь современные машины создадут современный продукт, и Иран завалит мир самыми лучшими товарами. Шах решает строить атомные электростанции, предприятия электронной, металлургической промышленности, всевозможные фабрики, после чего едет кататься на лыжах в Санкт-Мориц, поскольку

в Европе стоит роскошная зима. Однако прелестная и фешенебельная вилла в Санкт-Морице внезапно перестает быть тихим и уединенным уголком – весть о новом Эльдорадо уже разлетелась по миру и вызвала волнение в столицах разных стран. Количество денег потрясает человеческое воображение: все мгновенно поняли, какой капитал можно сколотить в Иране. Перед швейцарской резиденцией шаха выстроилась очередь из премьеров и министров, прибывших с поручениями от весьма почтенных и богатых правительств уважаемых и известных стран. Шах сидел в кресле, грея руки у камина и выслушивая целые потоки предложений и проектов. Весь мир был у его ног. Посетители склоняли головы, гнули спины и протягивали руки. «Ну видите, – говорил он премьерам и министрам, – не умеете править, поэтому у вас и нет денег!» Он поучал Лондон и Рим, давал советы Парижу, делал замечания Мадриду. Мир покорно все это выслушивал и глотал самые горькие пилюли, поглядывая в сторону пирамиды золота, сверкающей над иранской пустыней. У послов в Тегеране голова шла кругом, поскольку правительства забрасывали их десятками депеш: сколько денег может дать шах? Когда и на каких условиях? Сказал, что не даст? Вы должны его уговорить! Мы в долгу не останемся, обеспечим хорошие отзывы в прессе! В приемных даже самых незначительных министров шаха – постоянные толчея и сутолока, лихорадочные взгляды и вспотевшие руки, этикет и солидность забыты напрочь. А ведь те, что толпятся, тянут других за рукава, злобно фыркают на соседей, кричат: «Здесь очередь!» – это президенты мировых компаний, директора огромных концернов, представители известных фирм и предприятий, наконец, посланники более или менее влиятельных правительств. Они наперебой предлагают, расхваливают: кто – самолетный завод, кто – завод по изготовлению автомобилей, телевизоров, а кто – часов. Кроме этих знаменитых и в нормальных условиях благовоспитанных лордов мирового капитала и производства в Иран плывут целые косяки мелкой сошки, спекулянтов и мошенников, спецов по драгоценным камням и золоту, дискотекам и стриптизу, по наркотикам, злачным ме-

стам, бритью и раскрутке, стекаются те, кто может создать персидскую версию «Плейбоя», кто сделает шоу в стиле Лас-Вегас и кто откроет более знаменитую, чем в Монте-Карло, рулетку. Скоро можно будет встать на улице Тегерана и прочесть установленные везде рекламы и вывески: Jimmy's Night Club, Holiday Barber Shop, Best Food in the World, New York Cinema, Discreete Corner. В точности как на Бродвее или в лондонском Сохо. Тем, кто сейчас через двери и окна лезет в Иран, какие-то студенты, закрыв лица капюшонами, еще в европейских аэропортах суют свернутые листовки, где говорится, что в их стране люди умирают от пыток, и неизвестно, живы ли те, кого похитила САВАК. Но кому до этого дело, когда представляется такой случай набить карман, тем более что все осеняет провозглашенный шахом возвышенный лозунг о строительстве Великой Цивилизации. Тем временем отдохнувший и довольный монарх возвращается из зимнего отпуска. Наконец-то все его хвалят, весь мир пишет о нем только самое хорошее, перечисляет его заслуги, постоянно подчеркивая, что везде, куда ни глянь, столько проблем и такой бардак, не то что в Иране – там дела идут отлично, вся страна озарена сиянием прогресса и современности. Туда обязательно надо ездить, брать с нее пример и смотреть, как просвещенный монарх, не боясь темноты своего народа, уговаривает его карабкаться наверх, дабы как можно быстрее избавиться от бедности и предрассудков и не жалея сил подниматься до уровня Франции и Англии.

«– По мнению Вашего Величества, – спрашивает репортер «Шпигеля», – принятый план развития страны соответствует современному уровню жизни?»

– Я абсолютно в этом уверен, – отвечает шах».

Однако радость шаха будет недолгой. Прогресс – коварная река, в чем рано или поздно убеждается каждый, в нее вошедший. На поверхности вода течет спокойно и быстро, но стоит кормчему забыть об осторожности и чрезмерно понадеяться на себя, как он увидит, сколько же в этой реке опасных омутов и обширных мелей. По мере того как лодка все чаще попадает в эти ловушки, лицо кормчего вытягивается.

Он еще бодро напевает, но его уже гложет червь сомнения: вроде бы он еще плывет, но уже остановился, вроде бы лодка движется, но стоит на одном месте – мель.

Однако все это еще впереди. А пока шах, проехав по всему миру, сделал покупки на миллиарды долларов, и со всех континентов поплыли в Иран набитые товарами корабли. Когда же они достигли Залива, оказалось, что в Иране нет портов (о чем шах не знал). Точнее, порты есть, но до того маленькие и старые, что не в состоянии принять такой объем грузов. В результате несколько сотен судов стояли на рейде в ожидании своей очереди – иногда по полгода. Простой был оплачен из государственной казны: некоторым судовым компаниям было выплачено по миллиарду долларов в год. В конце концов суда разгрузили, но теперь выяснилось, что в Иране нет складов (о чем шах не знал). Под открытым небом, в пустыне, при кошмарной тропической жаре лежал миллион тонн различных товаров, половину которых смело можно было выбросить – это касалось, например, продуктов питания, химикатов, срок годности которых истек. Привезенный товар следовало переправить вглубь страны, но оказалось, что в Иране нет транспорта (о чем шах не знал). Правда, есть немного машин и вагонов, но это капля в море. Из Европы доставили две тысячи грузовиков, но оказалось, что в Иране нет водителей (о чем шах не знал). После долгих переговоров на самолетах доставили из Сеула южнокорейских водителей. Грузовики отправились в путь и стали перевозить товары. Однако корейцы, выучив несколько слов по-персидски, в конце концов поняли, что им платят в два раза меньше, чем иранским водителям. Возмутившись, они побросали грузовики и вернулись в Южную Корею. Машины эти, сегодня уже бесполезные, занесенные песком, до сих пор стоят в пустыне – на трассе, ведущей из Бендер-Аббаса в Тегеран. Постепенно с помощью заграничных транспортных фирм закупленные по всему свету заводы и машины были доставлены к месту назначения. Пришла пора начинать монтаж, но оказалось, что в Иране нет инженеров и техников (о чем шах не знал). По логике, тот, кто

решает создать Великую Цивилизацию, должен начать с людей, иными словами, следовало готовить специалистов с целью создания со временем собственной интеллигенции. Однако именно такой образ мышления был невозможен! Открыть новые университеты, политехнические институты? Но ведь каждое такое учебное заведение – осиное гнездо. Каждый студент – бунтарь, смутьян и вольнодумец. Разве можно удивляться тому, что шах не хотел рыть себе могилу? У него был способ лучше – большинство своих студентов он держал вдалеке от родины. В этом отношении Иран был страной уникальной. Свыше ста тысяч молодых людей учились в Европе и Америке. Это стоило Ирану гораздо больших денег, чем создание собственных вузов. Зато таким образом режим обеспечил себе относительное спокойствие и безопасность, ведь большинство студентов уже не возвращались на родину. В Сан-Франциско и Гамбурге сегодня больше иранских врачей, чем в Тебризе и Мешхеде. Они не возвращались, несмотря на высокую зарплату, обещанную шахом: боялись САВАК и не хотели никому целовать ноги. С давних пор это стало трагедией Ирана. Диктатура шаха, ее репрессии и преследования обрекали лучших людей страны, величайших писателей, ученых и мыслителей на эмиграцию, молчание или тюрьму. Образованного иранца легче было встретить в Марселе или Брюсселе, чем в Хамадане или Казвине. Иранец в Иране не имел возможности читать книги своих замечательных писателей (они издавались только за границей), не мог смотреть фильмы своих выдающихся режиссеров (их нельзя было показывать), не мог слушать своих интеллектуалов (они вынуждены были хранить молчание). Шах оставил людям один выбор: между САВАК и священнослужителями. И, конечно, они выбирали второе.

Если мы говорим о падении какой-либо диктатуры (а режим шаха был диктатурой особенно жестокой и вероломной), не стоит тешить себя иллюзией, будто вместе с ней прекратит свое существование и исчезнет из памяти, как дурной сон, вся система. Разумеется, физическое существование системы приходит к концу, но ее психологические, социальные последствия еще долгие годы

дают о себе знать. Диктатура, истребляя интеллигенцию и культуру, оставляет после себя пустое и мертвое поле, на котором не скоро вырастет древо мысли. И вот на это опустошенное поле выходят из укрытий, закоулков, щелей не всегда самые лучшие, а те, кто оказался сильнее, и не всегда те, кто привнесет и создаст новые ценности, а те, кому помогли выжить толстая кожа и внутренних иммунитет. В таких случаях история идет по трагическому, порочному кругу, и иногда нужна целая эпоха, чтобы история могла из него вырваться.

Однако в этом месте мы должны прерваться и вернуться на несколько лет назад, поскольку, опередив события, мы уже разрушили Великую Цивилизацию, а ведь сначала ее нужно построить. Но как строить, если нет профессионалов, а народу, который тянется к образованию, негде учиться? Ведь чтобы воплотить в жизнь мечту шаха, потребуется как минимум семьсот тысяч специалистов. Выход, простой и вполне безопасный, был найден: можно приглашать их из-за границы. Вопрос безопасности при этом был весомым аргументом, ведь очевидно, что чужестранец не будет организовывать заговоры и бунты, возмущаться и восставать против деятельности САВАК, поскольку главное для него – выполнить свою работу, получить деньги и уехать. Мир избавился бы от революций, если бы, к примеру, жители Эквадора строили Парагвай, а индусы – Саудовскую Аравию и т.д. Смешать, переселить, рассеять – и будет порядок. Итак, в Иран начинают съезжаться десятки тысяч иностранцев. В тегеранском аэропорту один за другим приземляются самолеты. Приезжают домохозяйки с Филиппин, сантехники из Греции, электрики из Норвегии, бухгалтеры из Пакистана, механики из Италии, военные из Соединенных Штатов. Мы рассматриваем фотографии шаха того времени: шах разговаривает с инженером из Мюнхена, мастером из Милана, крановщиком из Бостона, техником из Кузнецка. А кто те иранцы, которых мы видим на фотографиях? Это министры и люди из САВАК, охраняющие монарха. В свою очередь, иранцы, которых мы не видим на фотографиях, смотрят на это с все большим раздражением. Прежде всего, армия, состоящая из нанятых иностранцев,

самой силой своего профессионализма, силой умения нажимать соответствующие кнопки, переводить соответствующие рычаги, соединять соответствующие кабели – даже если бы она вела себя в высшей степени скромно (как это было в случае с маленькой группкой польских специалистов) – начинает доминировать, в результате чего у иранцев развивается комплекс неполноценности. «Чужой умеет, а я не могу». Иранцы – народ гордый и невероятно щепетильный в том, что касается чувства собственного достоинства. Иранец никогда не признается, что чего-то не умеет, для него это позор. Попав в такую ситуацию, сначала он будет страдать, чувствовать себя подавленным, но в конце концов начнет ненавидеть. Люди быстро поняли, чего хотел шах: вы, мол, сидите себе в тени мечетей и пасите овец, ведь, пока из вас что-то получится, пройдет целое столетие, мне же надо за десять лет построить с американцами и немцами мировую империю. Поэтому иранцы приняли Великую Цивилизацию прежде всего как великое унижение. Но это, конечно, только часть проблемы. Скоро пошли разговоры о том, сколько все эти профессионалы зарабатывают в стране, где для многих крестьян десять долларов – целое состояние (за свой товар крестьянин получал пять процентов от той цены, по которой его позже продавали на городском рынке). Самый же большой шок вызвала зарплата приглашенных шахом американских офицеров. Зачастую она составляла сто пятьдесят либо двести тысяч долларов в год. Таким образом, после четырех лет пребывания в Иране офицер уезжал с полумиллионом долларов в кармане. Инженерам платили намного меньше, но представление иранцев о доходах приезжих формировала информация об этом «американском потолке». Несложно представить, что почувствовал обычный иранец, который не мог свести концы с концами, но все же обожал шаха и его Цивилизацию, когда на родине его начали поучать, помыкать им и над ним издеваться чужаки, уверенные в своем превосходстве.

Наконец с помощью иностранцев часть заводов была построена, но оказалось, что нет электричества (о чем шах не знал). Да он и не мог об этом знать, по-

сколько читал статистические выкладки, а из них следовало, что электричество в стране есть. Оно действительно было, однако цифры в отчетах были завышены вдвое. Тем временем шах уже находился в безвыходном положении и решил экспортировать промышленные товары, поскольку, распоряжаясь огромными деньгами, не только потратил их все до копейки, но уже все чаще то тут, то там влезал в долги. А почему Иран одалживал деньги? Дело в том, что он должен был выкупать акции больших американских, немецких и других концернов. Было ли это действительно необходимо? Да, поскольку шах должен править миром. Несколько лет он всех учил, давал советы шведам и египтянам, сейчас же ему нужна была реальная сила. Иранская деревня тонула в грязи, обогревалась коровьим навозом, но какое это имело значение, коль в шахе проснулись амбиции мирового масштаба?

Фотография (11)

В общем-то это даже не фотография, а репродукция написанной маслом картины: на ней художник-панегирист представил шаха в позе *a la Napoleon* (в тот момент, когда император Франции, сидя на коне, командует армией в одном из победных сражений). Снимок распространяло Министерство информации Ирана (*notabene* управляемое САВАК), стало быть, его одобрил монарх, любивший сравнения подобного рода. Хорошо сшитый костюм, подчеркивающий стройную, спортивную фигуру Мохаммеда Реза, поражает богатством позумената, количеством орденов и замысловатым узором висящих на груди шнуров. Шах изображен в его любимом образе – командующего армией. Естественно, он заботится о подданных, занимается ускоренным развитием государства и так далее, но все это обязанности, весьма обременяющие его и вытекающие из той аксиомы, что шах – отец народа, в то время как его настоящее хобби, настоящая страсть – армия. Однако страсть эта не была абсолютно бескорыстной. Армия всегда являлась главной опорой трона, а со временем стала единственной. Когда же армия разбежалась, шах потерял власть. Но я не уверен, можно ли в данном случае во-

обще пользоваться словом «армия» – оно может вызвать неверные ассоциации. В нашей традиции армия была союзом людей, которые проливали кровь «за нашу и вашу свободу», охраняли границы, боролись за независимость, побеждали, покрывая славой боевые знамена, или терпели трагические поражения, после чего наступали годы страданий для всего народа.

Ничего подобного нельзя сказать об армии обоих шахов Пехлеви. Только однажды она выступила в роли защитницы отечества – в 1941 году, но именно тогда при виде первого чужеземного воина она торопливо отступила, а солдаты разбежались по домам. Зато эта армия охотно демонстрировала свою силу при других обстоятельствах, а именно – во время уничтожения (зачастую безоружных) национальных меньшинств и таких же безоружных народных демонстраций. Словом, она была не чем иным, как орудием внутреннего террора, разновидностью казарменной полиции. Историю польской армии отличали великие некогда битвы под Грюнвальдом, Цецорой, Рацлавицами или Ольшинкой Гроховской, а армию Мохаммеда Реза, в свою очередь, прославили великие расправы над собственным народом (Азербайджан – 1946, Тегеран – 1963, Курдистан – 1967, весь Иран – 1978 и т.д.). Поэтому любую попытку укрепления армии люди воспринимали с ужасом, считая, что таким образом шах готовит кнут потопце, болезненней и рано или поздно стегнет им по спине народа. Даже разделение армии и полиции (последняя была восьми родов) носило формальный характер. Во главе подразделений полиции стояли армейские генералы – приближенные шаха. Армия, как и САВАК, имела всевозможные привилегии. («После окончания учебы во Франции, – рассказывает один врач, – я вернулся в Иран. Мы пошли с женой в кино, стали в очередь. Появился сержант и без очереди купил в кассе билет. Я сделал ему замечание. Тогда он подошел и ударил меня по лицу. И мне пришлось это покорно снести, поскольку стоявшие рядом люди предупредили меня, что протест любой формы может закончиться тюрьмой».) Итак, наиболее комфортно шах чувствовал себя в мундире и посвящал большую часть времени армии. Из-

давня его любимым занятием было чтение журналов (на Западе их издают десятками) о новых видах оружия, рекламируемого различными фирмами и заводами. Мохаммед Реза все эти журналы выписывал и прочитывал от корки до корки. В течение долгих лет, не имея возможности купить смертоносные игрушки, пришедшиеся ему по вкусу, шах мечтал о том, что когда-нибудь американцы подарят ему танк или самолет. Американцы действительно ему многое дарили, однако каждый раз находился какой-нибудь сенатор, поднимавший шум и критиковавший Пентагон за то, что он высылает шаху слишком много оружия, и тогда на некоторое время поставки оружия прекращались. Но сейчас, когда шах получил огромные деньги за нефть, все эти проблемы закончились! Прежде всего грандиозную сумму в двадцать миллиардов долларов (в год) он разделил на две части: десять миллиардов – на экономику и десять – на армию (следует заметить, что в армии служил примерно один процент населения). Затем монарх еще глубже, чем раньше, погрузился в чтение военных журналов и каталогов, и из Тегерана полился в мир поток самых невероятных заказов. Сколько танков в Великобритании? Полторы тысячи. Хорошо, говорит шах, заказываю две тысячи. Сколько пушек у Бундесвера? Тысяча. Хорошо, заказываем полторы тысячи. Но почему обязательно больше, чем в британской армии и в Бундесвере? Потому что мы должны иметь третью армию в мире. Ничего не поделаешь, мы не можем иметь первую и вторую, а вот третью – третью можем и должны. И опять в сторону Ирана плывут корабли, летят самолеты и едут грузовики с самым современным оружием, которое только могли изобрести и сделать люди. Вскоре (если со строительством заводов были проблемы, то с поставкой танков дела выглядят великолепно) Иран превращается в огромную выставку всех видов оружия и военного оснащения. Именно выставку, поскольку в стране нет хранилищ, складов, ангаров, чтобы все это содержать и охранять. Зрелище действительно невиданное. Сегодня по дороге из Шираза в Исфахан в одном месте около шоссе, справа, можно увидеть сотни вертолетов, стоящих в пустыне. Бездействующие машины по-

степенно засыпает песок. Никто их не охраняет, да это и не нужно, так как нет тех, кто сумел бы поднять вертолет в воздух. Целые поля брошенных пушек находятся под Кумом, поля танков – под Ахвазом.

Однако мы опережаем события. Пока еще в Иране правит Мохаммед Реза, время которого расписано по минутам. Арсенал монарха растет с каждым днем, и постоянно приходит что-то новенькое – ракеты, радары, истребители, бронемашины. Всего этого очень много, в течение года военный бюджет Ирана вырос в пять раз – с двух до десяти миллиардов долларов, – а шах уже думает об очередном увеличении расходов на армию. Монарх ездит, инспектирует, проверяет, осматривает. Принимает донесения, рапорты, выслушивает объяснения – зачем нужен вот этот рычаг, а что произойдет, если нажать на эту красную кнопку... Шах слушает, кивает головой. Однако странные лица выглядывают из-под военных касок и пилоток летчиков и танкистов. Какие-то слишком белые, со светлой щетиной или совсем уж черные, негритянские. Ах да, это же американцы! Ведь кто-то должен летать на самолетах, управлять радаром, наводить прицел, а мы знаем, что в Иране нет достаточного числа техников не только среди гражданского населения, но и среди военных. Покупая самое изощренное оборудование, шах вынужден приглашать из Америки высокооплачиваемых военных специалистов, умеющих пользоваться всем этим оборудованием. В последний год правления шаха в Иране находилось около сорока тысяч американцев. Каждая третья фамилия в офицерской платежной ведомости была американской. В многочисленных технических войсках иранских офицеров можно было пересчитать по пальцам. Но даже американская армия не располагала таким количеством экспертов, которое требовалось шаху. Как-то раз монарх, просматривая каталоги военных фирм, пришел в восторг от новейшего эсминца Spruance. Цена его составляла триста тридцать восемь миллионов долларов. Шах немедленно заказал четыре. Эсминцы пришли в порт Бендер-Аббас, но американские команды вернулись домой, поскольку в самих Соединенных Штатах не было достаточного

числа моряков, умевших обслуживать такие суда. Эти эсминцы до сих пор ржавеют в Бендер-Аббасе. Затем восторг шаха вызвал прототип истребителя-бомбардировщика F-16. Шах сразу же решил закупить большую их партию. Но ведь американцы – беднота, они не в состоянии сделать ничего приличного, вот и сейчас решили прекратить производство бомбардировщиков данного типа, так как цена за самолет казалась им слишком высокой – двадцать шесть миллионов долларов. К счастью, шах решил поддержать бедных друзей и спас ситуацию. Он выслал им заказ на сто шестьдесят таких самолетов вместе с чеком на три миллиарда восемьсот миллионов долларов. Хочется спросить: почему от этих головокружительных сумм нельзя было отнять хотя бы один миллион, чтобы закупить для жителей Тегерана несколько городских автобусов? Люди в столице часами ждали транспорт, а потом часами ехали на работу. Городские автобусы? Но разве в городском автобусе есть величие? Какой блеск мощи может излучать такой автобус? А может, стоило от всех этих миллиардов отнять всего один миллион, чтобы в нескольких деревнях построить колодцы? Колодцы? Да кто поедет в эти деревни смотреть на эти колодцы? Кроме того, деревни далеко, в горах, никому не захочется ехать туда и восхищаться ими. Допустим, мы издадим альбом, в котором Иран будет представлен как пятая держава, и поместим там фотографию деревни, на которой изображен колодец. Европейцы станут ломать головы: что означает этот снимок? Да ничего. Просто на нем изображена деревня, в которой есть колодец. А вот если мы поместим в альбоме снимок монарха на фоне реактивных самолетов (а таких фотографий множество), все с восхищением станут качать головами и скажут: действительно, надо признать, шах совершил невероятное! Пока же Мохаммед Реза проводит время в своем штабном кабинете, репортаж о котором я видел по телевизору. На стене висит огромная карта мира. На приличном расстоянии от карты стоит глубокое, большое кресло, рядом столик и три телефона. Примечательно, что во всем помещении больше нет мебели. Ни кресел, ни стульев. Здесь шах пребывал в одиночестве. Он

садился в кресло и смотрел на карту. Острова в Ормузском проливе. Они уже завоеваны, заняты его армией. Оман. Там находятся его дивизии. Сомали. Он оказал ей военную помощь. Заир. Также оказал помощь. Дал кредиты Египту и Марокко. Европа. Тут у него капитал, банки, паи в больших концернах. Америка. Здесь он тоже выкупил множество паев и имел право голоса. Иран расширился, увеличивался, завоевывал позиции на всех континентах. Индийский океан. Да, пришло время укрепить свое влияние в Индийском океане. Шах все больше времени стал посвящать этому вопросу.

Фотография (12)

Самолет авиакомпании Люфтганза в аэропорту Мехрабад в Тегеране. Похоже на рекламный снимок, но в данном случае реклама ни к чему – билетов все равно не купить. Самолет вылетает из Тегерана ежедневно и приземляется в Мюнхене в полдень. Заказанные лимузины везут пассажиров на обед в изысканные рестораны. После обеда на том же самолете все возвращаются в Тегеран и ужинают уже дома. Недорогое развлечение – всего две тысячи долларов с человека. Для людей, пользующихся расположением шаха, такая сумма не имеет никакого значения. Причем в Мюнхене обедает, как правило, придворный плебс. Более высокопоставленные лица не всегда утруждают себя столь далеким путешествием. Им обед привозят на самолете компании «Air France» повара и официанты парижского «Максима». Но даже такие прихоти не кажутся чем-то особенным, поскольку стоят копейки по сравнению со сказочным состоянием, коим владеют Мохаммед Реза и его люди. В глазах обычного иранца Великая Цивилизация, или Революция Шаха и Народа, была прежде всего Великим Грабежом, которым занималась элита. Все, имевшие хоть какую-то власть, воровали. Конечно, встречались во властных структурах и такие, кто не воровал, но со временем вокруг них становилось пусто: они вызвали подозрение. Люди говорили: наверняка это шпион, его специально подослали, чтобы он сообщал, кто сколько украл, ведь эти данные нужны нашим врагам. При первой же возможности от такого человека

избавлялись – он портил игру. Все перевернулось вверх дном, ценности изменились. Того, кто хотел быть честным, считали взяточником. Человек с чистыми руками должен был прятать их, так как в чистоте теперь видели нечто постыдное, двузначное. Чем выше положение, тем полней карман. Тот, кто хотел построить завод, открыть фирму или растить хлопок, был обязан какую-то часть доходов отдать семье шаха или же кому-то из сановников. И он охотно отдавал, поскольку его планы могли осуществиться только при поддержке монаршего двора. С помощью денег и влияния преодолевались все преграды. Влияние можно было купить и затем с его помощью еще больше увеличить состояние. Невозможно даже представить себе ту реку денег, что плыла в казну монарха, его семьи и придворной элиты. Взятки, которые брали родственники шаха, измерялись суммами в сто миллионов долларов, а то и больше. В самом Иране они распоряжались суммами в интервале от трех до четырех миллиардов долларов, но основное их состояние лежало в заграничных банках. Премьеры и генералы брали взятки, исчисляемые суммами в двадцать, а то и пятьдесят миллионов долларов. Чем ниже статус, тем меньше денег, но брали всегда! По мере того, как росли цены, повышался и размер взяток, обычные люди жаловались, что все большую часть заработанных денег они вынуждены отдавать на прокорм молоха коррупции. С давних времен в Иране существовал обычай продажи должностей на аукционе. Шах устанавливал начальную цену за пост губернатора – тот, кто платил больше остальных, и получал должность. Вступив в нее, этот человек, в свою очередь, обирал подчиненных, чтобы вернуть (с лихвой) деньги, отданные шаху. Теперь этот обычай возродился в новой форме. Монарх подкупал людей, заключавших большие (особенно военные) контракты. Чиновники получали огромные комиссионные, часть которых доставалась семье монарха. Это был рай для генералов (самое большое состояние заработали на Великой Цивилизации армия и САВАК). Генералитет набивал карманы без малейшего стеснения. Командующий военно-морским флотом, контр-адмирал Рамзи Аббас Атаи, использовал флот для перевоз-

ки контрабанды из Дубая в Иран. Со стороны моря страна оказалась беззащитной, поскольку иранские корабли стояли в порту Дубая, где контр-адмирал командовал погрузкой на борт японских автомобилей.

У шаха, занятого строительством Пятой Державы, Революцией, Цивилизацией и Прогрессом, не было времени на то, чтобы заниматься мелкими делами, которые проворачивали его подчиненные. Миллиардные счета монарха возникли более простым способом, ведь он был единственным человеком, имевшим доступ к бухгалтерии Иранской Нефтяной Компании, поэтому он решал, как будут разделены нефтедоллары – граница же между карманом монарха и кошельком государства была нечеткой. Добавим также, что шах, заваленный обязанностями, ни на минуту не забывал о личной копилке и обирал страну всеми возможными способами. А что происходит с тем огромным количеством денег, которые копят фавориты шаха? Чаще всего они кладут накопления в заграничные банки. Уже в 1958 году разразился скандал в американском Сенате, поскольку выяснилось, что деньги, переданные Америкой в качестве помощи бедствующему Ирану, вернулись в Соединенные Штаты в виде круглых сумм на личных счетах шаха, его семьи и приближенных. Однако с тех пор, как Иран начал заниматься нефтяным бизнесом и повысил цены на нефть, ни один сенат уже не имел права вмешиваться во внутренние дела страны, и поток долларов спокойно поплыл из страны в чужие, но надежные банки. Ежегодно иранская элита размещала на своих личных счетах свыше двух миллиардов долларов, а в год революции вывезла из страны более четырех миллиардов. Это был невероятных масштабов грабеж собственной страны. Каждый вывозил столько денег, сколько хотел, какой-либо контроль отсутствовал в принципе – достаточно было просто заполнить чек. Но это еще не все: огромные суммы богачи вывозили не только для того, чтобы тут же их потратить на подарки и развлечения: в Лондоне или Франкфурте, в Сан-Франциско или на Лазурном берегу скупались дома, виллы, а то и целые улицы, десятки гостиниц, частных больниц, казино и ресторанов. Огромные деньги позволили

шаху создать новый класс, неизвестный до этого ни историкам, ни социологам, – нефтяную буржуазию. Это уникальный общественный феномен. Буржуазия ничего не производит, и единственным ее занятием является необузданное потребление. Принадлежность к ней достигается не путем общественной борьбы (с феодализмом), не конкуренцией (промышленной и торговой), а является результатом соперничества за благосклонность шаха. Попасть в класс привилегированных можно было в течение одного дня, одной минуты – достаточно одного слова монарха или его подписи. Попадал туда тот, кто был удобен, кто лучше и удачнее льстил, кто сумел убедить в своей лояльности и преданности. Иные заслуги и достоинства не ценились. Класс паразитов быстро прибрал к рукам значительную часть нефтяных доходов Ирана и стал хозяином страны. Им было все дозволено, поскольку они удовлетворяли потребность шаха в том, что он более всего любил, – в лесть. К тому же в этом окружении шах чувствовал себя в безопасности. Он окружил себя вооруженной до зубов армией и сворой, издающей возгласы восторга при одном только виде его, – окружил, не отдавая себе отчета в том, насколько все это эфемерно и фальшиво. Пока же нефтяная буржуазия блаженствует (а представляет она собой престраннейшую смесь высшей военной и гражданской бюрократии, придворных и их семей с крупными спекулянтами и ростовщиками, а также с множеством людей без определенного рода занятий). Последних довольно сложно классифицировать, но каждый из них имеет положение, состояние и влияние. «Почему?» – спрашиваю я. Ответ всегда один: он – человек шаха. Этого достаточно. Отличительной чертой этого класса, вызывавшей особый гнев в иранском обществе, тесно связанном с народными традициями, была его денационализация. Буржуа одеваются в Нью-Йорке и Лондоне (дамы скорее в Париже), свободное время проводят в американских клубах Тегерана, их дети учатся за границей. Этот класс в одинаковой степени симпатичен европейцам, американцам и неприятен соотечественникам. Буржуа принимают в фешиенебельных виллах приезжающих в Иран гостей

и формируют у них некое представление о стране (которую сами зачастую уже не знают). У них светские манеры, они говорят на иностранных языках, поэтому вполне естественно, что европеец ищет контактов именно с такими людьми. Но как же обманчивы эти встречи, как далек от всех этих вилл подлинный Иран, который вскоре скажет свое слово и удивит мир! Люди шаха, ведомые инстинктом самосохранения, уже предчувствуют, что их карьера столь же блистательна, сколь быстротечна. Поэтому они фактически сидят на чемоданах, вывозят деньги и покупают недвижимость в Европе и Америке. А так как денег много, некоторую их часть можно использовать на то, чтобы удобно жить в Иране. И вот в Тегеране строятся фешенебельные районы, комфорт и богатство которых ошеломляют любого приезжего. Цены на некоторые дома достигают нескольких миллионов долларов. Эти районы возникают в том же городе, где порой целые семьи ютятся на нескольких квадратных метрах без света и воды. Если бы это потребление привилегий, этот пир проходил втайне от других – взял, спрятал, и ничего не видно, попировал за закрытыми шторами, обустроился где-нибудь далеко в лесу, – так, чтобы других не дразнить. Куда там! Обычай велит поразить, ошеломить, выставить напоказ, зажечь весь свет, ослепить, поставить на колени, подавить, сокрушить! Иначе зачем тогда вообще иметь? Чтобы молчком, сбоку, где-то там, что-то там, говорят, кто-то сказал, кто-то слышал, но где, что? Нет! Иметь и скрывать – все равно что вообще не иметь! По-настоящему иметь – значит, трубить о том, что имеешь, звать, чтобы посмотрели: пусть видят и восхищаются, пусть у них глаза из орбит вылезут! И на глазах молчащей и все более враждебной толпы новый класс демонстрирует иранскую *dolce vita*, не ведая меры собственной распущенности, ненасытности и цинизма, и скоро спровоцирует пожар, в огне которого он и погибнет – заодно со своим создателем и покровителем.

Фотография (13)

Это репродукция карикатуры, нарисованной оппозиционным художником в дни революции. Улица

в Тегеране. По проезжей части едут несколько больших американских лимузинов. На тротуаре – понурые, усталые люди. Каждый держит в руке либо ручку от двери автомобиля, либо приводной ремень, либо рычаг от коробки передач. Под рисунком подпись – «Каждому по «Пейкану!» («Пейкан» – название марки популярного в Иране автомобиля). Получив огромные деньги, шах обещал, что каждый иранец сможет купить себе машину. На рисунке демонстрируется, в какой степени обещание было выполнено. В верхней части карикатуры сидит рассерженный шах. Над его головой надпись: «Мохаммед Реза гневается на народ, не желающий признавать, что жить стало лучше». Судя по карикатуре, иранцы интерпретировали Великую Цивилизацию именно как Великую Несправедливость. В обществе, никогда не знавшем равенства, между классами возникла еще более глубокая пропасть. Конечно, шахи всегда имели больше, чем другие, но их трудно было назвать миллионерами. Чтобы содержать королевский двор, они продавали лицензии. Шах Насер-эд-Дин влез в долги в парижских борделях, и для того, чтобы отдать их и вернуться на родину, он продал французам права на археологическую разведку и вывоз из страны найденных древностей. Но так было в прошлом. Сейчас, в середине 1970-х, Иран получает огромные барыши. И что делает шах? Часть денег отдает приближенным, половину состояния тратит на армию, а остальное предназначает на развитие. Но что значит «развитие»? Это не такая уж неопределенно-абстрактная категория, развитие всегда происходит во имя чего-то и для кого-то. Бывает развитие, которое обогащает общество и делает его жизнь лучше, свободнее, справедливее, но развитие может иметь и противоположный характер. Так происходит в системах единовластия, где элита отождествляет личные интересы с интересами государства (инструментом ее правления) и где развитие, направленное на укрепление государства и аппарата репрессий, усиливает диктатуру, рабство, выхолощенность, индифферентность, экзистенциальную пустоту. Именно такого типа развитие «продавалось» в Иране в красивой обертке Великой Цивилизации. Разве можно

удивляться тому, что иранцы, принеся чудовищные жертвы, в конце концов восстали и разрушили эту модель развития? Они поступили так не потому, что были людьми темными и отсталыми (речь ведь идет о целом народе, а не о паре обезумевших фанатиков), наоборот, поскольку они были умны, сообразительны и понимали, что происходит вокруг и что еще несколько лет такой Цивилизации – и вообще нечем будет дышать, а иранцы просто перестанут существовать как нация. Борьбу с шахом (то есть борьбу против диктатуры) вели не только Хомейни и муллы. Это была (как потом оказалось) ловкая пропаганда САВАК: темные муллы уничтожили светлое и прогрессивное дело шаха. Нет! Борьбу вели прежде всего те, кто олицетворял ум, совесть, честь, порядочность и патриотизм Ирана. Рабочие, писатели, студенты, ученые. Это они гибли в тюрьмах и это они первыми взяли в руки оружие, чтобы бороться с диктатурой. Ведь с самого начала Великую Цивилизацию сопровождали два явления, которые развивались в невиданном для Ирана масштабе: рост полицейских репрессий и террора диктатуры, с одной стороны, и все большее число рабочих и студенческих забастовок, а также возникновение массового партизанского движения – с другой. Во главе его стояли иранские феодалы (notabene они не имели ничего общего с муллами, более того, священники выступали против них). Это партизанское движение действовало в гораздо большем масштабе, нежели во многих странах Латинской Америки, но мир не знает о его существовании, да и кому до этого дело, если шах дает всем заработать? В партизаны идут врачи, студенты, инженеры, поэты, то есть та иранская «темнота», что выступила против светлого шаха и его современного государства, которым все так восхищались. За пять лет в боях погибло несколько сотен партизан, а еще несколько сотен умерли от пыток в застенках САВАК. Столько жертв на своей совести в то время не имели ни Сомоза, ни Штресснер. Из организаторов и лидеров иранского партизанского движения, террористов, стоявших во главе феодалов, моджахедов и членов других военных группировок в живых не осталось никого.

Из записей (6)

Шиит – это прежде всего ярый оппозиционер. Первоначально шииты представляли собой маленькую группу друзей и сторонников зятя Магомета, мужа его любимой дочери Фатимы – Али. После смерти Магомета, который не оставил после себя ни потомка мужского пола, ни преемника, среди мусульман началась борьба за наследие пророка и за то, кто станет вождем (халифом) приверженцев Аллаха, первым лицом в мире ислама. Сторонники (именно это означает слово *шии'а*) Али прочат на это место своего вождя, утверждая, что Али – единственный представитель семьи пророка, отец двух внуков Магомета: Хасана и Хусейна. Однако суннитское мусульманское большинство на протяжении двадцати четырех лет игнорирует голос шиитов, выбирая халифами Абу Бакра, Омара и Османа. В конце концов Али все же становится халифом, но через пять лет некий террорист раскроит ему отравленной саблей голову. Та же участь постигнет и двух сыновей Али: Хасана отравят, а Хусейна убьют в бою. Уничтожение семьи Али лишает шиитов шансов на завоевание власти, оказавшейся в руках суннитских династий Омаджавидов, затем Аббасидов и, наконец, Османов. Халифат, который должен стать, по представлению пророка, институтом простоты и скромности, переименовывается в передающуюся по наследству монархию. Простодушные, набожные и бедные шииты, которых оскорбляет образ жизни победивших халифов-нуворишей, переходят в оппозицию.

Все это происходит в середине VII века, но до сих пор остается живой и страстно культивируемой историей. Набожный шиит, рассказывая про свою веру, будет постоянно возвращаться к тем незапамятным временам и описывать со слезами на глазах все подробности кровавой резни под Карбалой, во время которой Хусейну отрубили голову. Тут европеец может с иронией и скепсисом подумать: «Господи, какое это имеет значение сегодня!», – но если он произнесет это вслух, то навлечет на себя гнев и ненависть шиита.

Судьба шиитов действительно трагична с любой точки зрения, понимание трагичности, исторической

несправедливости и сам факт постоянно сопровождающих их несчастий глубоко закодированы в сознании шиитов. В мире есть такие сообщества, где столетиями ничего не получается, все трещит по швам, а если и появится лучик надежды, то он тут же и пропадет – все против них, и кажется, что эти народы отмечены неким проклятием. Вот и с шиитами то же самое. Может, поэтому они производят впечатление людей чрезвычайно серьезных, нервных, яростно отстаивающих свою точку зрения, чересчур принципиальных и в то же время (конечно, это только первое впечатление) печальных.

С того момента, как шииты (составляющие не более одной десятой части всех мусульман, остальные – сунниты) переходят в оппозицию, их начинают преследовать. По сей день шииты живут воспоминаниями о бесчисленных погромах, жертвами которых они становились на протяжении веков. Поэтому они селятся в гетто, живут закрытой коммуной, общаются между собой с помощью только им одним понятных знаков и вырабатывают конспиративные формы поведения. Однако удары судьбы продолжают их настигать. Шииты строптивы; они в отличие от покорного суннитского большинства восстают против официальной власти (которая, начиная с пуританских времен Магомета, успела обрести роскошь и богатством) и царящей вокруг ортодоксии. За это их и не любят.

Постепенно они начинают искать места наиболее безопасные, такие, где у них было бы гораздо больше шансов выжить. Во времена, когда расстояние, пространство играли роль мощного изолятора, отгораживающей стены, шииты старались селиться как можно дальше от центра власти (находящегося в Дамаске, а позже – в Багдаде). Они разбредаются по миру, идут через горы, пустыни, селятся в пещерах. Таким-то образом в исламском мире и возникает существующая до сегодняшнего дня шиитская диаспора. Эпопея шиитов, полная невероятных отречений, примеров храбрости и твердости духа, заслуживает отдельной книги. Часть странствующих шиитских коммун отправляется на восток. Они переходят через Тигр и Евфрат, горы Загрос и достигают пустынной иранской возвышенности.

В то время Иран, изможденный, изнуренный вековыми войнами с Византией, только что завоевали арабы и начали насаждать новую веру – ислам. Этот процесс шел медленно и тяжело, в атмосфере борьбы. Прежде у иранцев была официальная религия (зороастризм), связанная с царствующим режимом (Сасанидов), теперь же им пытались навязать новую, связанную с другим (к тому же чужим) царствующим режимом, – суннитский ислам. Словом, из огня да в полымя.

Именно тогда в Иране появляются уставшие, бедные, буквально пережившие ад несчастные шииты. Иранцы узнают, что шииты – мусульмане, к тому же (как они сами утверждают) единственные носители чистой веры, за которую готовы отдать жизнь. «Ну хорошо, – спрашивают иранцы, – а ваши братья арабы, которые нас завоевали?» «Братья? – возмущенно кричат шииты, – они же сунниты, узурпаторы, наши преследователи, убившие Али и захватившие власть. Нет, мы не признаем их. Мы в оппозиции!» После этого шииты просят дать им напиться и отдохнуть после долгого странствия.

Заявление босых пришельцев наводит иранцев на очень важную мысль. Ага, значит, можно быть мусульманином, но не обязательно мусульманином, верным режиму. Кроме всего прочего, судя по словам шиитов, можно быть оппозиционным мусульманином! И тогда можно быть даже более хорошим мусульманином! Им начинают нравиться бедные и обиженные шииты. Иранцы устали от войн, их страной правят оккупанты. Посему они быстро находят общий язык с изгнанниками, ищущими приюта, начинают прислушиваться к словам их проповедников и, наконец, принимают веру шиитов.

В этом ловком маневре иранцев отражены вся их сообразительность и стремление к независимости. Они обладают редкой способностью сохранять их в условиях зависимости. На протяжении сотен лет Иран был жертвой завоеваний, агрессии, разделов, веками правили им чужие или зависимые от чужого могущества местные режимы, и все-таки иранский народ сохранил

свою культуру, язык, импонирующую индивидуальность и такую душевную силу, что в благоприятных условиях смог возродиться и восстать из пепла. В течение двадцати пяти веков своей письменной истории иранцы умели обвести вокруг пальца тех, кто считал, что ими можно править безнаказанно. Иногда иранцам приходилось поднимать восстания, революции, и тогда они платили трагическую, кровавую дань. Порой они последовательно и решительно применяли тактику пассивного сопротивления. Когда же власть становилась невыносимой и иранцы не могли больше терпеть ее, вся страна застывала, народ исчезал, будто проваливался сквозь землю. Власть приказывала, а слушать ее было некому, власть хмурила брови, но никто этого не видел, власть кричала, но это был голос вопиющего в пустыне. И тогда система рассыпалась, как карточный домик. Однако больше всего иранцы любят тактику впитывания, ассимиляции. Активной ассимиляции, которая позволяет победить врага его же собственным оружием.

Именно так поступают иранцы, когда их захватывают арабы. Хотите ислам, говорят они оккупантам, будет ислам, но только в нашей национальной форме, в независимом, бунтарском варианте. Будет вера, но вера иранская, которая выразит наш дух, культуру и независимость. Эта философия лежит в основе решения иранцев принять ислам. Они принимают его, но в шиитском варианте, так как в то время это была вера униженных и оскорбленных, орудие сопротивления и сопротивления, идеология непокорных, готовых страдать, но не отступать от принципов, поскольку главное для иранцев – сохранить самобытность и достоинство. Шиизм станет не только национальной религией, но и убежищем, приютом, формой выживания нации, а также – в определенные моменты – формой борьбы и освобождения.

Иран превращается в самую беспокойную провинцию мусульманской империи. Здесь постоянно кто-то устраивает заговоры, вспыхивают какие-то восстания, мелькают переодетые эмиссары, распространяются тайные листовки и газеты. Представители оккупационной власти – арабские губернаторы – усиливают террор,

но последствия его дают обратный эффект. В ответ на официальный террор иранские шииты начинают борьбу, но не прямую (для этого они слишком слабы). С того момента одним из элементов шиитского общества станет террористическое подполье. До сегодняшнего дня законспирированные, малочисленные, но не знающие ни страха, ни жалости террористические организации держат в ужасе весь Иран. Половина убийств в стране, приписываемая аятоллам, совершена по приговору шиитских группировок. Вообще считается, что шииты первыми в истории человечества создали теорию террора и ввели в практику индивидуальный террор как метод борьбы. Вышеупомянутое подполье – продукт идеологической войны, веками происходившей внутри диаспоры шиитов.

Как каждое преследуемое сообщество, обреченное на жизнь в гетто и сражающееся за право на существование, шиитов характеризуют ожесточенность и ортодоксальная, маниакальная, фанатическая забота о чистоте доктрины. Преследуемый человек, чтобы выжить, должен сохранить непоколебимую веру в правильность выбора и беречь ценности, которые повлияли на этот выбор. Ведь все расколы (а шиизм их пережил десятками) имели один общий знаменатель – это были, если можно так выразиться, ультралевые расколы. Всегда находилась какая-то фанатичная группа, которая набрасывалась на остальную часть единоверцев, обвиняя их в отсутствии рвения, пренебрежении предписаниями веры, в поисках выгоды и оппортунизме. Наступал раскол, после чего самые рьяные среди схизматиков хватались за оружие и шли расправляться с врагами ислама, дабы искупить кровью (так как они часто гибли) измену и лень нерадивых братьев.

Иранские шииты на протяжении восьмисот лет живут в подземельях и катакомбах. Их жизнь напоминает муки и лишения первых христиан Рима, которых бросали на съедение львам. Иногда кажется, что их все-таки истребят окончательно, что их ждет полное уничтожение. Они прячутся в горах, пещерах и умирают от голода. Их песни, сохранившиеся с давних времен, полны печали, скорби и предвещают конец света.

Однако бывали и более спокойные периоды. Тогда Иран становился убежищем для всех оппозиционеров мусульманской империи, прибывающих сюда со всего мира, дабы среди шиитов-заговорщиков найти приют, поддержку и спасение. К тому же они могли многому научиться в великой шиитской школе конспирации. Например, овладеть принципом маскировки (такия), который помогает выжить. Этот принцип разрешает шииту при столкновении с более сильным врагом признать для вида господствующую религию, исповедовать ее, чтобы спасти себя и близких. Они могут овладеть принципом дезориентации противника (китман), который позволяет шииту в опасной ситуации отречься от всего, что он сказал минуту назад, и прикинуться дураком. Поэтому в средние века Иран становится Меккой для противников режима, мятежников, бунтовщиков, странного вида отшельников, пророков, одержимых, еретиков, стигматиков, мистиков, колдунов, которые приходят отовсюду, дабы учить, созерцать, молиться и проповедовать, и это создает характерную для страны атмосферу религиозности, экзальтации и мистики. Только иранец может сказать, что в школе он был очень набожным, и все дети верили, что над его головой сияет нимб. Представьте себе европейского лидера, рассказывающего, как он однажды ехал на коне, упал в пропасть, но какой-то святой протянул руку, поймал его в воздухе и тем самым спас жизнь. А вот шах описывает подобную историю в своей книге, и все иранцы воспринимают ее всерьез. Вера в чудеса укоренилась здесь очень прочно, как и вера в цифры, знаки, символы, предсказания и откровения.

В XVI веке правители иранской династии Сафавидов возводят шиизм в ранг официальной религии. Теперь шиизм, бывший до сих пор идеологией народной оппозиции, становится идеологией оппозиционного иранского государства, которое противопоставляет себя суннитской Османской империи. Однако с течением времени отношения между монархией и шиитской церковью сильно портятся.

Дело в том, что шииты не только отвергают власть халифов, но вообще плохо переносят любую светскую

власть. Иран – уникальная страна, где общество верит лишь в господство религиозных лидеров – имамов, из которых вдобавок последний, согласно рациональным, но не шиитским критериям, покинул мир в IX веке.

Тут мы добрались до сути шиитской доктрины, главного символа веры ее последователей. Шииты, лишенные возможности иметь халифат, навсегда отворачиваются от халифов и с этого момента признают в качестве предводителей только своих духовных лидеров – имамов. Первым имамом был Али, вторым и третьим имамами стали его сыновья – Хасан и Хусейн и так далее. Всего имамов было двенадцать, и все они, по легенде, были убиты или отравлены халифами, видевшими в них лидеров опасной оппозиции. Однако шииты верят, что последний, двенадцатый имам Мохаммед не погиб, а исчез в пещере большой мечети в Самарре (Ирак). Произошло это в 878 году. Он, Скрытый, Ожидаемый имам, появится однажды под именем Махди (ведомый Богом) и создаст на земле царство справедливости. Потом наступит конец света. Шииты верят, что если бы этого имама не было, если бы не его незримое присутствие, мир бы погиб. Вера в существование Ожидаемого является источником духовной силы шиитов, с этой верой они живут и за нее идут на смерть. Чисто человеческая тоска обиженного и страдающего общества, которое в самой этой идее находит утешение и, прежде всего, смысл жизни. «Мы не знаем, когда придет Ожидаемый, он может появиться в любой момент, даже сегодня. Тогда прекратятся слезы и каждому будет отведено место за столом изобилия».

Ожидаемый – единственный предводитель, которому шииты готовы полностью поклониться. В значительно меньшей степени они признают своих религиозных рулевых – аятолл и в еще меньшей – шахов. И если Ожидаемый является предметом культа, тем, кого Обожают, то шах от силы мог бы считаться тем, кого Терпят.

Со времен Сафавидов в Иране существовало своеобразное двоевластие – монархии и церкви. Отношения между ними складывались по-разному; они никогда особенно не дружили. Однако, если равновесие сил

нарушалось, если шах пытался навязать абсолютную власть (к тому же с помощью чужих покровителей), народ собирался в мечетях и начинал борьбу.

Мечеть для шиитов значит больше, чем место культа – это гавань, в которой можно переждать бурю и спастись от смерти. Эта территория обладает иммунитетом, вход власти сюда воспрещен. В Иране некогда существовал обычай: если бунтовщик, преследуемый полицией, успевал спрятаться в мечети, то был спасен, так как оттуда его уже никто не имел права вывести силой.

Даже в архитектуре христианской церкви и мечети можно увидеть существенные различия. Церковь – закрытое помещение, место молитвы, сосредоточенности и тишины. Если кто-то здесь начнет разговаривать, ему сделают замечание. В мечети же все по-другому. Значительную часть объекта занимает внутренний двор, где можно молиться, гулять, беседовать и даже проводить собрания. Здесь кипит бурная общественная и политическая жизнь. Иранец, которым понукают на работе, который в учреждениях встречает лишь ворчливых, вымогающих взятки бюрократов, за которым повсюду следит полиция, приходит в мечеть, чтобы обрести равновесие и спокойствие, вернуть себе чувство собственного достоинства. Здесь никто его не погоняет, не оскорбляет. Здесь исчезают иерархии, все равны, все братья, а поскольку мечеть – место для разговоров, место для диалога, то человек смело может высказать свое мнение, пожаловаться или послушать, что говорят другие. Какое же это облегчение и как же это необходимо людям! Поэтому по мере того, как диктатура сжимает кольцо, а на работе и на улицах воцаряется молчание, мечети заполняются людьми и шумом. Не все, кто сюда приходит, ревностные мусульмане, не всех приводит сюда внезапный приступ набожности; сюда приходят, чтобы свободно вздохнуть, почувствовать себя людьми. На территории мечети даже САВАК имеет ограниченную сферу влияния. Правда, полиция арестовывает и пытается многих священнослужителей, открыто критикующих злоупотребление властью. Погиб от пыток аятолла Саиди. Он скончался на электрическом сто-

ле от ожогов. Аятолла Азаршари умер через несколько минут после него, когда саваковцы окунули его в котел с кипящим маслом. Аятоллу Телегани выпустили из тюрьмы, но настолько истерзанного, что вскоре он умер. Ему выжгли веки. Саваковцы насильовали в его присутствии дочь, и Телегани, не желая на это смотреть, закрывал глаза. Ему прижигали веки сигаретами, чтобы глаза постоянно были открыты. И все это происходило в семидесятых годах XX века. По отношению к мечети шах ведет себя довольно странно. С одной стороны, он преследует духовную оппозицию, с другой, неустанно заботясь о популярности, заявляет о себе как о набожном мусульманине, часто совершает паломничества к святым местам, молится и просит у мул благословения. Как же он объявит открытую войну мечетям?

Есть еще одна причина, по которой в мечетях существовала относительная свобода. По мнению американцев, имевших на шаха влияние (что лишь навредило монарху, поскольку американцы не знали Иран и до конца не понимали, что в нем происходит), единственным противником Мохаммеда Реза были коммунисты, партия Туде. Поэтому весь гнев САВАК был направлен против коммунистов. Но их в то время оставалось немного: почти всех убили или вынудили эмигрировать. Режим был так занят преследованием настоящих и вымышленных коммунистов, что не заметил, как в совершенно другом месте и под другими лозунгами выросла сила, оказавшаяся в состоянии свергнуть диктатуру.

Шиит посещает мечеть еще и потому, что она всегда находится неподалеку, по соседству, по дороге. В одном Тегеране тысяча мечетей. Неопытный глаз туриста выхватит лишь несколько наиболее заметных. Большинство мечетей, особенно в бедных кварталах, сложно отличить от убогих домиков, в которых ютятся простые люди. Прогуливаясь, мы проходим мимо множества подобных святынь, совершенно их не замечая, поскольку они построены из той же глины и как будто впаяны в монотонный образ улочек и закоулков. Благодаря этому в отношениях между шиитом и его мечетью возникает обыденная, рабочая атмосфера. Не нужно

далеко ходить, нарядно одеваться, мечеть – это повседневность, сама жизнь.

Первые шииты, прибывшие в Иран, были людьми городскими, мелкими купцами и ремесленниками. Они замыкались в гетто, где строили мечети, а рядом – лавки и магазинчики. Здесь же ремесленники открывали свои мастерские. Поскольку мусульманин должен умыться перед молитвой, стали открываться также бани. А поскольку после молитвы мусульманин хочет выпить чаю, кофе или поесть, то под рукой у него ресторанчики и чайханы. Таким образом и возникает феномен иранского городского пейзажа – базар (так называется пестрое, сутолочное, шумное, мистически-торгово-потребительское место). Если кто-то скажет: иду на базар, – это не значит, что он должен взять с собой продуктовую сумку. На базар можно пойти, чтобы помолиться, встретиться с друзьями, решить какие-то вопросы, посидеть в чайхане. Можно послушать сплетни и принять участие в собрании оппозиции. В одном месте – на базаре, не бегая по городу, не отлучаясь более никуда, шиит удовлетворяет потребности тела и духа. Здесь он находит все необходимое для земного существования и здесь же с помощью молитв и пожертвований обеспечивает себе вечную жизнь.

Пожилые торговцы, наиболее преуспевающие ремесленники, а также муллы базарной мечети образуют элиту базара. Их советы и точку зрения выслушивает все шиитское общество, поскольку они решают, как жить на земле и на небе. Если базар объявит забастовку и закроет свои ворота, люди лишатся единственного места, где они могут укрепить свои дух и тело. Поэтому союз мечети и базара является величайшей силой, способной расправиться с любой властью. Так было и в случае с последним шахом. Когда базар вынес ему приговор, судьба монарха была решена.

По мере того, как нарастала борьба, шииты все больше чувствовали себя в своей стихии. Талант шиита проявляется в борьбе, а не в работе. С самого рождения недовольные и непокорные, благородные и честолюбивые, неутомимые оппозиционеры, начиная борьбу, чувствовали себя абсолютно уверенно.

Для иранцев шиизм всегда был тем, чем для польских конспираторов сабля, спрятанная на чердаке на случай восстания. Если жизнь была сносной, а силы для борьбы не собраны, сабля лежала, замотанная в промасленные тряпки. Но когда раздавался боевой клич и наступало время проявить себя – слышен был скрип ведущей на чердак лестницы, а затем топот копыт и свист клинка, рассекающего воздух.

Из записей (7)

Махмуд Азари вернулся в Тегеран в начале 1977 года. Восемь лет он прожил в Лондоне, перебиваясь переводами книг и кратких текстов для различных издательств и рекламных агентств. Пожилой одинокий человек кроме работы любил гулять и беседовать с соотечественниками. Во время этих встреч в основном обсуждались проблемы англичан, поскольку САВАК даже в Лондоне давала о себе знать, посему следовало избегать разговоров об Иране.

В конце пребывания Азари в Лондоне ему передали несколько писем от брата, живущего в Тегеране. Тот уговаривал его вернуться и утверждал, что грядут интересные времена. Махмуд как раз опасался интересных времен, но в семье брат всегда главенствовал, поэтому он собрал чемоданы и вернулся в Тегеран.

Город он еле узнал.

Некогда спокойный, пустынный оазис превратился в ошеломляющее скопление народа. Пять миллионов толпящихся людей куда-то ехали, что-то делали, что-то говорили, что-то ели. Автомобили скапливались на узких улочках, и их движение сводилось на нет, когда колонна, движущаяся в одном направлении, сталкивалась с колонной, движущейся навстречу. Вдобавок и ту и другую подрезали, теснили потоки машин, двигавшихся справа и слева, с северо-востока и с юго-запада, создавая гигантские, дымящиеся и гудящие морские звезды, заключенные, как в клетках, в тесных закоулках. Тысячи автомобильных сирен выли с утра до вечера.

Махмуд заметил, что люди, прежде такие спокойные и вежливые, сейчас ссорятся по мелочам, взрываются без повода, бросаются друг на друга, ругаются

и орут. Они напоминали каких-то странных, сюрреалистических, раздвоенных монстров, одни части которых послушно сгибались перед кем-то важным и значительным, а другие в то же время топтали и давили кого-то слабого. Таким образом, видимо, люди обрели некое внутреннее равновесие, пусть эфемерное, но необходимое для того, чтобы удержаться на поверхности и выжить.

Его охватил страх, что при первой встрече с этим монстром он не в состоянии будет предвидеть, какие части отреагируют первыми – гнущиеся или топчущие. Вскоре Махмуд сделал вывод, что более активны топчущие части – они постоянно вырываются вперед и отступают только под давлением важных обстоятельств.

Во время первой прогулки он пошел в парк. Сел на скамейку, на которой уже сидел какой-то человек, и попробовал с ним заговорить. Но тот молча встал и быстро удалился. Махмуд попытался завести разговор с другим прохожим. Тот посмотрел на него испуганно, будто встретил помешанного. Махмуд решил оставить его в покое и вернуться в гостиницу, в которой остановился.

В администрации гостиницы заспанный, грубый тип сказал ему, что следует отметить в полиции. Впервые за восемь лет он почувствовал страх и тут же осознал, что это чувство никогда не стареет: все то же прикосновение куска льда к голой спине, которое он хорошо помнил с давних времен, все та же тяжесть в ногах.

Полиция занимала мрачное, вонючее здание в том же конце улицы, где была расположена гостиница. Махмуд стал в длинную очередь хмурых и апатичных людей. По другую сторону стойки сидели полицейские и читали газеты. В большом, заполненном людьми помещении царил абсолютная тишина: полицейские были заняты чтением, а в очереди никто не осмеливался произнести ни слова. Внезапно без видимой на то причины полицейские начали работать. Они с шумом стали отодвигать стулья, рыться в ящиках и записывать посетителей, ругаясь при этом последними словами.

«Почему везде столько хамства?» – думал озабоченный Махмуд. Когда дошла очередь до него, он по-

лучил анкету, которую должен был заполнить на месте. Он задумывался над каждым пунктом анкеты и вдруг заметил, что все смотрят на него подозрительно. Испугавшись, Махмуд стал писать нервно, неаккуратно, как будто был полуграмотным. Он почувствовал, что пот выступил у него на лбу, а когда понял, что забыл плавок, вспотел еще больше.

После заполнения анкеты он быстро вышел и в задумчивости столкнулся со случайным прохожим. Тот стал громко ругать его. Несколько человек остановились. Значит, Махмуд совершил правонарушение, раз из-за его поведения собралась толпа. А это было противозаконно, так как организация любых несанкционированных собраний запрещена. Подошел полицейский. Махмуду пришлось долго объяснять, что он случайно столкнулся с человеком и что во время происшествия никто не провозглашал лозунгов, направленных против монархии. Несмотря на объяснения, полицейский записал его данные и положил в карман тысячу риалов.

Махмуд вернулся в гостиницу в подавленном состоянии. Он осознал, что попал на заметку, причем дважды. Тогда он стал размышлять о том, что произойдет, если эти записи где-нибудь «встретятся». Утешил он себя тем, что, вполне возможно, они потеряются в бесконечном бардаке.

Утром пришел брат, и после приветствия Махмуд рассказал, что его уже поставили на учет в полиции. «Не лучше ли мне вернуться в Лондон?» – спросил Махмуд. Брат когда-то руководил крупным издательством, впоследствии уничтоженным САВАК. Книги подвергались цензуре только после выхода из печати всего тиража. Если книга вызывала подозрения, все экземпляры необходимо было уничтожить, причем делалось это за счет издателя. Таким образом большинство издательств разорилось. В стране, где проживало тридцать пять миллионов человек, издатели боялись печатать книги тиражом свыше тысячи экземпляров. Бестселлер Великой Цивилизации «Техническое обслуживание и ремонт личного автомобиля» уже вышел в свет тиражом пятнадцать тысяч экземпляров, когда печать остановили, поскольку в разделах об испорченном двигателе, плохой

вентиляции и севшем аккумуляторе САВАК усмотрела аллюзию на работу правительства.

Брат был не прочь поговорить с Махмудом, но, показав на люстру, телефон, розетки и ночник, предложил выйти из комнаты и прокатиться за город. Они поехали на старом, разбитом автомобиле в горы. Остановились на пустой дороге. Был март, дул ледяной ветер, везде лежал снег. Дрожа от холода, они спрятались за высокой скалой.

(«Тогда брат сказал, что я должен остаться, потому что началась революция, и я буду необходим. «Какая революция, – спросил я, – ты что, с ума сошел? Я боюсь любых эксцессов, я вообще не переношу политику. Каждый день я занимаюсь йогой, читаю поэзию и перевожу. Зачем мне политика?» Но брат заявил, что я ничего не понимаю, и стал объяснять сложившуюся ситуацию. Исходной точкой является Вашингтон, там решаются наши судьбы. В Вашингтоне Джимми Картер как раз говорит о правах человека. Шах не может это проигнорировать! Он должен прекратить пытки, освободить из тюрьмы часть заключенных и создать хотя бы видимость демократии. Для начала нам этого хватит! Брат был очень взволнован, а я успокаивал его, несмотря на то, что вокруг не было ни души. Тогда он протянул мне двести страниц машинописного текста. Это было открытое письмо нашего писателя Али Аскара Джавади шаху. Джавади писал о царящем кризисе, о зависимости страны и скандалах вокруг монархии. Он писал также о коррупции, инфляции, репрессиях и моральной деградации. Брат сказал, что этот текст тайно передается из рук в руки, и благодаря тому, что люди его переписывают, появляется все больше копий. «Сейчас, – добавил он, – мы ждем реакции шаха. Посадят ли Джавади в тюрьму? Пока ему только угрожают по телефону. Он бывает в чайхане, и ты сможешь с ним поговорить». Но я ответил, что боюсь встречаться с человеком, за которым наверняка следят».)

Они вернулись в город. Махмуд, закрывшись у себя в комнате, всю ночь читал обращение Джавади. Тот обвинял шаха в уничтожении народного духа. Любая мысль наказуема, и наиболее прогрессивные люди вы-

нуждены молчать. Культура загнана в подполье, а то и вовсе «сидит» за решеткой. Джавади писал, что нельзя измерять прогресс количеством танков и машин. Мерилом прогресса является человек, его чувство достоинства и свободы. Махмуд читал, постоянно прислушиваясь, не идет ли кто по коридору.

На следующий день, не зная, что делать с текстом и опасаясь оставлять его в номере, он взял его с собой. Однако на улице Махмуд понял, что такая пачка бумаги может вызвать подозрение. Тогда он купил газету и завернул текст в нее. Но, несмотря на это, он понимал, что в любую минуту его могут остановить и обыскать. Хуже всего было в администрации гостиницы. Махмуд был уверен, что там обратят внимание на сверток, который он все время держал под мышкой. На всякий случай он решил ограничить свои прогулки.

Постепенно Махмуд отыскал старых приятелей времен студенчества. К сожалению, многие эмигрировали, несколько человек сидели в тюрьме, а кого-то уже не было в живых. В конце концов он нашел пару адресов. Он встретил в университете Али Каиди, с которым они когда-то ходили в горы. Каиди стал профессором ботаники, специалистом по твердолиственным растениям. Махмуд осторожно спросил его о ситуации в стране. Подумав с минуту, Каиди ответил, что в последние годы он занимается исключительно твердолиственными растениями. Потом стал рассказывать, что территория, на которой встречаются твердолиственные растения, характеризуется определенным климатом. Зимой там идут дожди, а вот лето сухое и жаркое. Зимой, объяснял он, лучше развиваются эфемерные виды, то есть терофиты и геофиты, а летом – ксерофиты, поскольку они имеют свойство ограничивать транспирацию. Махмуд, которому все эти определения ничего не говорили, осторожно спросил приятеля, можно ли здесь ожидать каких-либо перемен. Каиди снова задумался, а через минуту стал говорить о великолепной кроне кедра атлантического (*Cedrus atlantica*). «Однако, – оживился он, – в последнее время я исследовал растущий у нас кедр гималайский (*Cedrus deodara*) и должен с удовольствием отметить, что он еще красивее!»

Позже Махмуд встретил приятеля, вместе с которым еще в школе пытался написать пьесу. Приятель стал мэром города Кередж. В конце обеда в хорошем ресторане, куда пригласил его мэр, Махмуд спросил его о настроениях в обществе, но мэр дал понять, что собирается говорить только о своем городе. «В Кередже, – сказал он, – сейчас асфальтируют главные улицы. Начали строить канализацию, которой нет даже в Тегеране». Лавина цифр и терминов поглотила Махмуда, он почувствовал всю неуместность своего вопроса. И все же он решил не отступать и спросил приятеля, о чем чаще всего разговаривают люди в его городе. Тот задумался. «Откуда я знаю? О делах. Эти люди не думают, им все равно, они ленивы, аполитичны и заботятся лишь о своем доме. Проблемы Ирана! Какое им до этого дело?» А потом он долго рассказывал, как был построен завод по производству паральдегида, которым завалили всю страну. Но Махмуд не знал, что такое паральдегид, и чувствовал себя невеждой, человеком, отставшим от жизни. «У тебя вообще нет проблем?» – удивленно спросил он приятеля. «Как нет?! – ответил тот и, наклонившись над столиком, приглушенным голосом добавил: – Продукцию новых заводов можно сразу выбрасывать. Барахло и хлам. Люди не хотят работать, все делают абы как. Повсюду безразличие и непонятное сопротивление. Вся страна сидит на мели». «Но почему?» – спросил Махмуд. «Не знаю, – ответил приятель, выпрямляясь и подзывая официанта, – трудно сказать». И подавленный Махмуд понял, что искренняя душа несостоявшегося школьного драматурга, на миг выглянув, снова спряталась за стеной генераторов, транспортеров, датчиков и насадочных ключей.

(«Иранцы в конкретных вещах нашли убежище и даже спасение. Кедр, да, – конкретная вещь, асфальт – тоже. О конкретных вещах можно высказываться совершенно свободно. Их преимущество в том, что у них есть четко очерченные границы, оснащенные сигнальными звонками. Если разум начинает приближаться к этой границе, звонки предупреждают, что за ее пределами начинается поле рискованных общих мыслей, нежелательных размышлений и анализа. Услышав зво-

нок, разум сделает шаг назад и снова погрузится в конкретику. Весь этот процесс мы можем наблюдать, глядя в лицо нашего собеседника. Вот он оживленно рассуждает, перечисляя цифры, проценты, названия и даты. Видно, что конкретные вещи – его стихия. Тогда мы задаем вопрос: «Ну хорошо, почему же тогда люди недовольны?» И лицо собеседника меняется (зазвонили сигнальные звонки, внимание! Через минуту ты перейдешь границу конкретного). Он замолкает и судорожно ищет выхода из ситуации, которым является, естественно, уход в конкретику. Радуюсь тому, что он вывернулся, что его не поймали, собеседник, переведя дыхание, с новой силой начинает разглагольствовать и душить нас конкретикой – это может быть любой предмет, объект, создание или явление. Одной из черт конкретного является то, что само по себе оно неспособно соединяться с другим конкретным и произвольно создавать общие образы. К примеру, конкретная негативная вещь может существовать рядом с другой конкретной негативной вещью, но они не создадут некий общий образ, пока их не объединит в одно целое человеческая мысль. Однако мысль эта, задержанная сигнальным звонком на границе каждой конкретной вещи, не может выполнить свою задачу, и поэтому конкретные негативные вещи могут долгое время сосуществовать, не вызывая тревожных ассоциаций. Если каждый человек закроется в границах чего-то конкретного, возникнет разобщенное общество, состоящее из энного числа конкретных единиц, неспособных соединиться в согласованно действующее единство».)

Махмуд решил отвлечься от земных проблем и переклеститься на что-либо более возвышенное. Он разыскал старого знакомого, который был признанным поэтом. Хасан Резвани принял его на фешенебельной вилле. Они сидели в чудесном саду у бассейна (уже наступило жаркое лето) и попивали джин с тоником из запотевших стаканов. Хасан жаловался на усталость, потому что накануне вернулся из поездки в Монреаль, Чикаго, Париж, Женеву и Афины. Он ездил с докладом о Великой Цивилизации, Революции Шаха и Народа. Неблагодарное занятие, признался он, потому что ему

мешали активисты оппозиции: не давали говорить, выкрикивали оскорбления в его адрес. Хасан показал Махмуду новый томик стихов, посвященных шаху. Первое стихотворение называлось «Куда ни взглянет, там цветы цветут». «Стоит шаху, – прочитал Махмуд, – только бросить взгляд, там тут же вырастает и зацветает гвоздика или тюльпан.

А там, где подольше задержится взгляд,
Расцветает розовый сад».

Другое стихотворение называлось «Куда ни ступит, там источник бьет». В нем автор утверждал, что там, куда ступит нога монарха, брызнет источник кристально чистой воды.

«А если шах задержится слегка,
На этом месте побежит река».

Стихотворения эти читались по радио и на торжественных собраниях. Сам монарх очень хвалил их, а Хасан получил стипендию Фонда Пехлеви.

Как-то Махмуд увидел на улице человека, стоявшего под деревом. Подойдя ближе, он узнал в нем (хотя и с трудом) Мосена Джалавера, с которым они вместе начинали работать в студенческой газете. Махмуд знал, что Мосена пытали и посадили в тюрьму за то, что тот прятал в своей квартире друга-моджахеда. Он остановился и протянул Мосену руку. Тот посмотрел на него отсутствующим взглядом. Махмуд назвал его. Мосен, не пошевелившись, ответил: «Мне все равно». И продолжал стоять, скорчившись и глядя в землю. «Пойдем куда-нибудь, – сказал Махмуд, – я хотел бы с тобой поговорить». «Мне все равно», – повторил тот, опустив голову. Махмуд почувствовал холод внутри. «Послушай, – попробовал он еще раз, – а может, мы встретимся в другой день?» Мосен не ответил, но внезапно еще больше скорчился, а потом сдавленным шепотом тихо проговорил: «Убери крыс».

Через некоторое время Махмуд снял в центре города скромную квартиру. Он еще распаковывал чемо-

даны, когда к нему пришли трое мужчин и, приветствуя его как нового жителя района, спросили, является ли он членом партии шаха Растахиз. Махмуд ответил: «Нет», – поскольку, мол, совсем недавно вернулся из Европы, где провел несколько лет. Это вызвало у них подозрение: все, кто мог, уезжали из страны. Они поинтересовались причиной его возвращения, а один из пришедших все записывал в тетрадь. Махмуд с ужасом осознал, что он в третий раз попал на заметку САВАК. Пришедшие дали ему бланк заявления для вступления в партию, но Махмуд ответил, что не хочет вступать в нее, поскольку никогда не интересовался политикой. Мужчины с изумлением посмотрели на него, но потом сообразили, что новый жилец, видимо, не понимает, что говорит. Поэтому они дали Махмуду почитать проспект, в котором большими буквами было напечатано обращение шаха: «Тот, кто не вступит в партию Растахиз, является либо изменником, которому место в тюрьме, либо не верит в Шаха, Народ и Родину, а значит, не должен ожидать, что к нему будут относиться как к равному». Однако Махмуд осмелился попросить их подождать один день, объяснив это тем, что хотел бы посоветоваться с братом.

Брат сказал: «У тебя нет другого выхода. Мы все в этой партии! Весь народ как один должен состоять в ней». Махмуд вернулся домой и во время повторного визита активистов подал заявление на прием в партию. Таким образом он стал поборником Великой Цивилизации.

Вскоре Махмуд получил приглашение в резиденцию Растахиза, находившуюся недалеко от его дома. Там проходила встреча с авторами, прославлявшими в своих произведениях тридцать седьмую годовщину правления монарха. Все годовщины, связанные с шахом и его наибольшими достижениями – Белой Революцией и Великой Цивилизацией, – отмечались широко и с помпой, вся жизнь империи протекала от одной годовщины до другой торжественно и нарядно. Бесчисленные общественные комитеты следили по календарю за тем, чтобы не пропустить день рождения монарха, дату его последней свадьбы, коронации, рождения наследника трона и других счастливо рожденных потом-

ков. К традиционным праздникам постоянно добавлялись новые. Как только заканчивалось празднование одной годовщины, сразу же начиналась подготовка к другой, в воздухе уже чувствовались лихорадка и возбуждение, прекращалась работа, все готовились к празднику, проходившему в атмосфере банкетов, раздачи премий, поздравлений и дифирамбов.

На встрече обсуждались проекты новых памятников шаху, которые должны были открыты в день очередной годовщины. В зале сидело около ста человек, и ведущий постоянно подчеркивал, что это выдающиеся люди. Однако ни одна из перечисленных фамилий Махмуду ни о чем не говорила. «А что за люди сидят в первом ряду, – спросил Махмуд соседа, – в атласных креслах?» «Это особо отличившиеся, – прошептал сосед, – в свое время они получили от шаха его книгу, собственноручно им подписанную».

Вел собрание скульптор Куруш Лашаи, с которым Махмуд познакомился еще в Лондоне. Лашаи много лет провел в Лондоне и Париже, пытаясь сделать карьеру. У него ничего не вышло – не было таланта. Разочарованный и уязвленный, Лашаи вернулся в Тегеран, но, как человек самолюбивый, он не смирился с поражением и вновь попытался самоутвердиться. Он вступил в Растахиз и начал подниматься все выше и выше. Вскоре, став председателем жюри Фонда Пехлеви, а заодно и теоретиком имперского реализма, уже он решал, кого награждать. Поговаривали, что главное слово здесь за Лашаи. Ходили даже слухи, что он советник шаха по делам культуры.

В конце встречи к Махмуду подошел писатель и переводчик Голам Касеми. Они не виделись много лет. Голам писал рассказы, прославлявшие Великую Цивилизацию, жил в достатке, имел свободный доступ во дворец, его книги издавались в кожаных переплетах. Голам хотел сообщить Махмуду нечто важное и почти силой затащил в армянское кафе, где положил на стол какой-то еженедельник и с гордостью в голосе произнес: «Посмотри, что мне удалось напечатать!» Это был его перевод стихотворения Поля Элюара. Махмуд пробежал глазами стихотворение и спросил: «Что в нем осо-

бенного?» «Как что, – возмутился Голам, – ты ничего не понимаешь? Прочти внимательно». Махмуд внимательно прочитал и повторил вопрос. «Ну и что? Чем ты так гордишься?» «Ты что, – возмутился Голам, – ослеп, что ли? Посмотри:

Погода печальна, и ночь беспросветна,
Слепого не выгонишь в темень такую»².

Читая, он подчеркивал ногтем на бумаге каждое слово. «Чего мне стоило, – возбужденно говорил он, – это опубликовать, убедить САВАК, что это можно напечатать! В стране, где все должно дышать оптимизмом, цвести, радоваться, вдруг «наступила пора грусти»! Ты можешь себе представить?» У Голама было лицо победителя, он гордился своей смелостью.

Только сейчас, глядя в его сморщенное, хитрое лицо, Махмуд впервые поверил в грядущую революцию; он наконец все понял. Голам предчувствовал приближающуюся катастрофу и путем хитрых маневров менял фронт, пробовал очиститься и отдавал дань наступающей силе, грозные шаги ее уже отзывались глухим эхом в его обеспокоенном сердце. Пока же Голам тайком подложил кнопку на пурпурную подушку, на которой сидел шах. Это не бомба, нет. Шах от нее не погибнет, но Голам почувствует себя лучше – он выступил против! Теперь он будет показывать эту кнопку, рассказывать о ней, искать среди ближайших знакомых признания и одобрения, радоваться, что пошел на такой смелый шаг.

Однако вечером Махмуд снова засомневался. Они гуляли с братом по полупустым улицам. Усталые прохожие с потухшими взглядами спешили домой; некоторые молча ждали транспорт. Какие-то мужчины сидели под стеной и дремали, опустив головы на колени. «Кто же будет делать революцию? – спросил Махмуд, показывая на них рукой. – Ведь здесь все спят». Брат ответил: «Они и будут. Все, кого ты видишь. В один прекрасный день у них вырастут крылья». Но Махмуд пока не мог себе этого представить.

² Перевод на русский язык М. Ваксмахера. – Прим. пер.

(«В начале лета я сам ощутил: что-то меняется, что-то оживает в людях, в воздухе. Это настроение сложно передать, оно немного похоже на пробуждение от страшного сна. Пока американцы вынудили шаха освободить из тюрьмы интеллигенцию. Шах, однако, хитрил: одних выпускал, других сажал. Но главное – он отступил, по крайней мере на шаг; в жесткой системе появилась первая трещина, первая щель. Этим воспользовалась группа людей, желавших возродить Организацию Писателей Ирана. Шах закрыл ее в 1969 году. Вообще все, даже самые невинные организации, были запрещены. Существовали только Раствахиз и мечеть. Третьего не дано. Власть по-прежнему не соглашалась на то, чтобы у литераторов был свой союз. Поэтому собрания проходили тайно в частных домах, чаще всего в старых усадьбах под Тегераном, там было легче соблюдать конспирацию. Встречи назывались культурными вечерами. Сначала читались стихи, потом начиналось обсуждение текущей ситуации в стране. Во время дискуссий говорилось о том, что вся придуманная шахом и для шаха программа развития развалилась, все пришло в упадок, рынок пустеет, а жизнь дорожает, на квартплату уходит три четверти заработка, а бездарная и жадная элита грабит страну, иностранные фирмы вывозят огромные деньги, а половину доходов от нефти съедает бессмысленное вооружение. Подобные мнения звучали все более часто и громко. Помню, на одном из таких вечеров я впервые увидел людей, вышедших из тюрьмы. Это были писатели, ученые, студенты. Я всматривался в их лица, пытаюсь определить, какой след оставляют в человеке страх и страдание. Мне показалось, что в их поведении было нечто ненормальное. Они двигались неуверенно, отвыкнув от света и присутствия других людей. В общении с окружающими они держали некую дистанцию, будто опасаясь, что приближение другого человека может закончиться для них избиением. Один из них, студент юридического факультета, выглядел особенно ужасно, он ходил с палкой, а на лице и ладонях у него были шрамы от ожогов. Во время обыска у него нашли проспекты федаинов. Он рассказывал, как саваковцы привели его в большое

помещение, в котором одна стена представляла собой раскаленное добела железо. На рельсах, вмонтированных в пол, стоял металлический стул на колесах, к которому его привязали ремнями. Саваковец нажал кнопку, и стул стал двигаться в сторону раскаленной стены. Это было медленное, скачкообразное движение, каждую минуту на три сантиметра. Он подсчитал, что дорога до стены будет длиться два часа, но уже через час он не мог переносить жар, стал кричать, что признается во всем, хотя ему не в чем было признаваться – эти проспекты он нашел на улице. Все слушали его молча, а студент плакал. Помню, он говорил: «Боже, за что ты меня наказал таким страшным увечьем – разумом! Почему ты научил меня думать вместо того, чтобы научить меня скотской покорности!» Ему стало плохо, и пришлось отнести его в другую комнату. Однако, как правило, люди, вышедшие из тюрьмы, ничего не рассказывали».)

САВАК быстро вычислила место встреч. Однажды ночью, когда собравшиеся вышли из усадьбы и шли по тропинке в сторону шоссе, Махмуд услышал шорох в придорожных кустах. Через мгновение послышались крики, шум, темнота внезапно сгустилась, он почувствовал сильный удар в затылок. Махмуд пошатнулся, упал лицом на каменную дорожку и потерял сознание. Очнулся он на руках у брата. Сквозь опухшие, залитые кровью глаза Махмуд с трудом узнал в темноте его серое, разбитое лицо. Слышались стоны, кто-то звал на помощь, в какой-то момент Махмуд узнал голос студента, находившегося, по-видимому, в состоянии шока, потому что тот, как будто из-под земли, повторял: «Почему ты научил меня думать! Почему ты наказал меня этим страшным увечьем!» Махмуд видел, что у кого-то болталась сломанная рука, видел стоявшего на коленях человека, у которого изо рта текла кровь. Они потихоньку пошли в сторону шоссе, стараясь держаться вместе во избежание нового нападения.

Утром он лежал в постели с перебинтованной головой и со швом на лбу. Сторож дома принес газету, в которой Махмуд прочитал описание ночного происшествия. «Прошлой ночью неподалеку от Кана неодно-

кратно наказываемые отбросы общества организовали в одной из близлежащих усадеб отвратительную оргию. Патриотически настроенные местные жители неоднократно делали им замечания по поводу вызывающего поведения. Однако разнузданная компания вместо того, чтобы прислушаться к справедливым замечаниям местных патриотов, бросилась на них с камнями и палками. Жители дали отпор нападавшим и восстановили порядок, прежде царивший в этих местах!» Махмуд стонал, его знобило, и постоянно кружилась голова.

Вечером пришел брат. Он был очень взволнован. Не обращая внимания на раны Махмуда и будто забыв о ночном происшествии, он вынул из папки большой текст и протянул его больному. Махмуд с трудом надел очки. «Снова письмо, – сказал он разочарованно и отложил текст в сторону, – оставь меня в покое!» «Ты что, – возмутился брат, – ты только посмотри – это очень серьезно!» И Махмуд, несмотря на головную боль, стал читать и понял, что дело действительно серьезное и необычное. Это была копия письма, которое три приближенных к Мосаддыку человека адресовали шаху. Махмуд увидел подписи – Карим Санджаби, Шапур Бахтияр, Дариуш Форухар. Известные фамилии, подумал он, большие авторитеты. Все в разное время были узниками шаха; Бахтияр сидел в тюрьме шесть раз.

«С 1953 года, – читал Махмуд, – Иран живет в атмосфере страха и террора. Любую оппозицию убивают в зародыше, а если она и появляется на свет, то ее тут же душат. Воспоминание о днях, когда можно было спорить на улицах, когда свободно продавались книги, когда при Мосаддыке можно было устраивать демонстрации, с течением времени стало похожим на давний сон, который уже стирается из памяти. Всякая деятельность, хотя бы в малой степени не устраивающая дворец, запрещена. Народ обречен на молчание, ему непозволительно высказывать свое мнение, выражать протест. Остался только один путь – подпольная борьба».

Махмуда особенно увлек раздел «Тревожная экономическая, общественная и моральная ситуация в Иране». Речь шла о планировании экономики, о глубочайшем социальном неравенстве, об уничтожении

крестьянства, об умышленном одурачивании общества и о депрессии, в которой находилось население страны. «Однако молчание и бездействие народа не следует принимать за равнодушие и тем более за полное принятие происходящего в стране. Противостояние может принимать различные формы, и только люди могут выбрать ту форму, которая будет соответствовать данной ситуации». Письмо было выдержано в решительном, ультимативном тоне и заканчивалось требованием реформ, демократии и свободы. «Их посадят», – подумал разбитый и истощенный Махмуд, отложив письмо, и почувствовал сильный жар в висках.

Через несколько дней брат пришел с незнакомым человеком, рабочим инструментального завода в Кередже, и сообщил, что повсюду начались забастовки. «Никогда их не было столько, сколько в этом году. Забастовки запрещены, их разгоняют, – сказал он, – но у людей нет другого выхода – жить стало невозможно. САВАК руководит профсоюзами и управляет заводами, а рабочие просто рабы. Зарплату повышают, но цены растут еще быстрее, поэтому все труднее становится сводить концы с концами». Его сильные руки сделали в воздухе такое движение, как будто хотели сомкнуться, но какая-то сила оттолкнула их друг от друга. Он рассказал, что рабочие Кереджа отправились в Тегеран – требовать в Министерстве труда повышения заработной платы. Навстречу им вышли войска и открыли огонь. По обеим сторонам дороги – открытая пустыня, так что спрятаться было негде. Те, кто уцелел, вернулись, забрав с собой убитых и раненых. Погибло семьдесят человек, двести было ранено. Город в трауре и ждет момента, чтобы отомстить.

«Дни шаха сочтены, – решительно сказал брат. – Нельзя годами уничтожать беззащитный народ». «Сочтены? – изумился Махмуд, поднимая забинтованную голову. – Ты с ума сошел? Ты видел его армию?» Разумеется, брат ее видел, вопрос был риторическим. Махмуд часто видел дивизии шаха в кино и по телевизору. Парады, учения, истребители, ракеты, стволы орудий, нацеленные прямо в сердце Махмуда. Он смотрел с неприязнью на шеренги старых генералов, с трудом вы-

прямявшихся перед монархом. Интересно, думал он, как бы они вели себя, если бы рядом взорвалась настоящая бомба. Наверное, у всех случился бы инфаркт! С каждым месяцем танков и минометов на экране появлялось все больше. Махмуд считал, что эта страшная сила снесет любую преграду и превратит в пыль и прах абсолютно все.

Наступили жаркие летние месяцы. Пустыня, прилегающая к Тегерану с юга, дышала огнем. Махмуд чувствовал себя лучше и решил возобновить вечерние прогулки. Давно он не выходил на улицу. Было поздно. Он бродил по маленьким, темным закоулкам, неподалеку от гигантского, мрачного здания, построенного наспех. Это была новая резиденция Раствахиза. В темноте ему показалось, будто кто-то выходит из-за кустов. «Но ведь здесь нет никаких кустов», – пробовал успокоить себя Махмуд. Это не помогло, и он, испугавшись, свернул на соседнюю улочку. Он испугался, хотя и понимал, что его страх абсолютно беспочвен. Ему стало холодно, и он решил вернуться домой. Махмуд шел по улице, спускавшейся вниз, к центру, и внезапно услышал шаги идущего сзади человека. Махмуда это удивило, так как он был уверен, что улица пуста. Невольно он ускорил шаг, но тот, сзади, тоже не отставал. Какое-то время они шли нога в ногу, ритмично, как два часовых. Махмуд решил идти еще быстрее. Он шел коротким, скорым шагом. Тот сделал то же самое и даже стал приближаться. «Лучше я буду идти медленнее», – решил Махмуд в поисках выхода из ситуации. Но страх был сильнее разума, и для того, чтобы оторваться от преследователя, Махмуд зашагал еще быстрее. Его зазнобило, он боялся спровоцировать идущего сзади человека. Махмуд думал, что таким образом он отдалит момент удара. Однако тот был уже совсем близко, он слышал его дыхание, звуки их шагов сливались в тоннеле улицы в единое эхо. Наконец Махмуд не выдержал и побежал. Преследователь пустился следом за ним. Махмуд бежал, его пиджак развевался, как черное знамя. Внезапно он понял, что к неизвестному присоединяются другие, он слышал за собой уже десятки грохочущих шагов, подобных надвигающейся лавине. Он бежал, задыхаясь,

в полубессознательном состоянии и вдруг понял, что сейчас рухнет на землю.

Из последних сил Махмуд добежал до ближайших ворот и повис на запертой калитке. Сердце выскакивало из груди. Ему казалось, что чужой кулак пробил ему ребра и уже внутри наносил болезненные, оглушающие удары.

Постепенно Махмуд стал приходить в себя. Оглянулся. На улице не было ни души, под стеной прошмыгнул серый кот. Медленно, держась за сердце, Махмуд побрел домой, совершенно подавленный.

(«Все началось с ночного нападения весной, когда мы возвращались с собрания. С тех пор я начал бояться. Зачастую страх охватывал меня в самый неожиданный момент, когда я был абсолютно к этому не готов. Мне было стыдно, но я ничего не мог поделать. Мне это очень мешало. Я с ужасом думал о том, что, нося в себе страх, я вопреки своей воле становлюсь частью системы, основанной на страхе. Возникла ужасная, но неразделимая связь между мной и диктатором, некий патологический симбиоз. Из-за страха я стал ощущать себя опорой системы, которую ненавидел. Шах мог рассчитывать на меня, то есть он мог рассчитывать на мой страх, на то, что страх меня не подведет и тем самым я не подведу монарха в его расчетах и отвечу судорогой страха на голос сверху. Да, режим опирался на меня, я не могу не признать этого. Если бы я мог избавиться от страха, то подкопал бы фундамент, на котором стоял трон, по крайней мере с той стороны, с которой его подпирали и даже укрепляли мой страх, но я еще не готов был это сделать».)

Все лето Махмуд чувствовал себя плохо и с безразличием слушал новости, которые приносил ему брат.

Тем временем все жили как на вулкане, любая искра могла разжечь пожар. В городе Керманшах бешеный конь бросился на людей. Какой-то сельский житель приехал на нем в город и привязал к дереву на главной улице. Конь испугался машин, разорвал вожжи и стал топтать прохожих. В итоге его застрелил какой-то солдат. Около трупа животного собралась толпа. Пришедшие полицейские стали разгонять собрав-

шихся. Из толпы раздался голос: а где же была полиция, когда конь топтал людей? Началась потасовка. Полицейские открыли огонь. Но толпа увеличивалась. Город кипел, люди начали строить баррикады. В город вошли войска, был объявлен комендантский час. «Еще немного, – сказал Махмуду брат, – и вспыхнуло бы восстание». Но Махмуд, как всегда, считал, что брат преувеличивает.

В начале сентября, проходя по аллее Реза Хана, Махмуд заметил на улице волнение. Перед главным входом в университет стояли военные грузовики, пулеметы, здесь же были солдаты в касках и зеленом камуфляже. Они хватали студентов и вели к грузовикам. Махмуд услышал крики, увидел бегущих по улице молодых людей. Так выглядело начало нового учебного года.

Махмуд свернул на боковую улицу: несколько прохожих читали наклеенную на стене копию депеши, которую адвокат Мустафа Бахер послал премьеру Амузегару.

«Вы наверняка знаете о том, что за последние двадцать лет правительство, нарушая принципы свободы, добилось того, что наши университеты перестали быть местом учебы. Они превратились в военные крепости, окруженные заграждениями из колючей проволоки и управляемые полицией. Это могло вызвать лишь гнев и разочарование молодых, думающих людей. Трудно удивляться тому факту, что в течение этих лет университеты в Тегеране и в провинции были либо закрыты, либо работали в ограниченном режиме».

Люди читали депешу и молча расходились.

Внезапно раздался вой сирен, и Махмуд увидел, что по улице едут набитые студентами грузовики. Молодые люди со связанными руками, окруженные солдатами, стояли вплотную друг к другу. Видимо, налет закончился. Махмуд решил пойти к брату и рассказать ему об облаве в университете. В квартире брата он познакомился с молодым человеком, учителем гимназии Ферейдуном Ганджи. Махмуд вспомнил, что впервые видел его в тот вечер, когда их избил полиция. Брат рассказывал, что на следующий день Ганджи пришел

в школу, но директор, которому уже успели позвонить из САВАК, выгнал его с работы, назвав хулиганом и дебоширом, недостойным звания учителя. После этого долгое время он был безработным и слонялся в поисках какого-либо занятия.

Брат предложил всем вместе пойти пообедать на базар. В тесных и душных закоулках, расположенных недалеко от базара, Махмуд заметил множество молодых людей, одурманенных опиумом. Одни сидели на тротуарах, и взгляд у них был стеклянный. Другие цеплялись к прохожим, оскорбляли их и грозили кулаками. «Куда смотрит полиция?» – спросил он брата. «Все просто, – ответил брат, – иногда подобная компания может сослужить им хорошую службу. Завтра они получают немного денег, палки и пойдут бить студентов. Позже пресса напишет о здоровой, патриотически настроенной молодежи, которая по зову партии дала отпор смутьянам и отбросам общества, паразитирующим в стенах университета».

Они зашли в ресторанчик и сели за столик, стоящий в середине зала. Пока они ждали официанта, Махмуд заметил двух крепких типов, отдыхавших за соседним столом. «Саваковцы!» – промелькнуло у него в голове. «Давайте пересядем, – предложил он, – ближе к двери». Они сменили место, и тут же подошел официант. Но в тот момент, когда брат делал заказ, взгляд Махмуда упал на двух элегантно одетых красавчиков, сидевших рядом и державшихся за руки. «Саваковцы, строящие из себя педиков! – подумал он со страхом и отвращением. «Я хочу сесть у окна, – сказал он брату, – чтобы посмотреть, как живет базар». Они пересели за новый столик. Как только они приступили к еде, в зал вошли трое мужчин. Без слов, словно договорившись об этом заранее, они сели у того же окна, из которого Махмуд наблюдал за жизнью базара. «За нами следят», – прошептал он и в тот же миг заметил подозрительные взгляды официантов, обративших внимание на то, что Махмуд со спутниками уже в третий раз сменили место. Возможно, как раз именно их официанты приняли за саваковцев, пересаживающихся из одного конца зала в другой в поисках жертвы. Кусок не лез ему в гор-

ло. Он отодвинул тарелку и кивнул головой в сторону выхода.

Они вернулись в дом брата и решили поехать на машине в горы, чтобы хоть ненадолго вырваться из изнуряющего города и подышать свежим воздухом. Они ехали на север по еще пахнущему цементом и краской району богачей – Шемирану, мимо роскошных вилл и дворцов, уютных ресторанов и домов моды, просторных парков, эксклюзивных клубов с бассейнами и кортами. Здесь каждый квадратный метр пустыни стоил сотни, если не тысячи долларов, но все равно земля считалась дефицитной. Это был волшебный мир придворной элиты, другая земля, другая планета. Внезапно на дороге образовалась пробка. Где-то далеко впереди возникла преграда. Они долго стояли безо всякой надежды на малейшее продвижение вперед.

«Опять война бульдозеров!» – сказал брат. Они припарковали автомобиль на тротуаре и дальше пошли пешком. Через пятнадцать минут в перспективе улицы они увидели поднимающиеся в небо клубы пыли. Вдоль дороги стояли зарешеченные полицейские машины, а далее видна была черная движущаяся толпа. Махмуд услышал крики и стоны. Проехал грузовик, в кузове которого лежали прикрытые тряпками тела двух людей. Донесся сухой треск выстрелов. Подойдя ближе, они увидели, как пять желтых массивных бульдозеров сравнивают с землей район мазанок. Женщины с криками бросались под бульдозеры, беспомощные водители постоянно останавливали машины, а полицейские отгоняли дубинками людей, телами заслонявших убогие мазанки.

(«Это и есть война бульдозеров, – сказал брат, – она длится уже несколько месяцев. Бедных прогоняют с этой земли, потому что элита именно здесь хочет строить свои дома. Здесь лучший воздух в городе, к тому же район охраняется военными. Земля, на которой стоят лачуги, уже поделена, осталось только выгнать жителей и снести их дома. Таким образом Шемиран разорвет окружающее его кольцо нищеты, и суперрайон сможет расти и расширяться во благо людей, стоящих у трона. Но дается им это нелегко. Среди жителей лачуг федаи-

ны организовали настоящее движение сопротивления. Вот увидишь, именно отсюда начнется первый штурм дворца».)

Однако Махмуд считал брата слишком уж большим энтузиастом и не верил в эти предсказания. Они вернулись к машине и попробовали проехать в горы по боковым улочкам. В конце концов, добравшись до места, они пошли прогуляться, а потом сели в тени покатой скалы. Тогда Ганджи вынул из сумки маленький магнитофон, вставил в него кассету и нажал пластмассовую клавишу. Махмуд услышал низкий бесцветный голос:

«Во имя милосердного, сострадательного Аллаха!

Люди!

Проснитесь!

Десять лет шах говорит о развитии. Однако народ лишен самого необходимого. Сегодня шах дает обещания на следующие двадцать пять лет. Но народ знает, что обещания шаха – пустые слова. Сельское хозяйство в упадке, ситуация рабочих и крестьян ухудшилась, независимость производства – фикция. И этот человек осмеливается говорить о революции! Что же это за революция, парализовавшая силы людей, сделавшая народ и его культуру зависимыми от чужой диктатуры? Я обращаюсь к студентам, рабочим, крестьянам, торговцам и ремесленникам с призывом начать борьбу и создать движение сопротивления и гарантирую вам, что режим скоро рухнет.

Люди!

Проснитесь!

Во имя милосердного, сострадательного Аллаха!»

В громкоговорителе наступила тишина. «Чей это голос?» – спросил Махмуд. «Это Хомейни», – ответил Ганджи.

Ганджи напомнил Махмуду о существовании мира, который в его сознании давно стерся. Мечети, муллы, Коран, ислам, Мекка. Махмуд, как и многие его приятели, уже несколько лет не был в мечети. Он считал себя рационалистом и скептиком, любое проявление

ханжества вызывало в нем отвращение, он не молился и не верил в Бога.

(«Во время этой встречи Ганджи рассказал, что занимается контрабандой кассет. Он принадлежал к группе людей, распространявших кассеты с воззваниями Хомейни. В то время Хомейни находился в ссылке в маленьком иракском городке Наджаф. Там он преподавал в медресе. Там же записывались кассеты. Ганджи ничего не знал об этом раньше, хотя система распространения существовала многие годы – настолько хорошо все было законспирировано. В своих воззваниях Хомейни критиковал каждое выступление, каждое начинание шаха. Это были короткие, всего в несколько предложений, комментарии, сформулированные простым, доступным языком, понятные всем и легкие для восприятия. Каждое воззвание начиналось и заканчивалось обращением к Аллаху, а также возванием – люди, проснитесь! Эти кассеты перевозились через границу, зачастую окружным путем, через Париж и Рим. Для дезориентации САВАК многие воззвания были записаны в самом конце кассет с альбомами различных рок-групп. Кассеты доставлялись надежным людям (одним из них был именно Ганджи), которые относили их в мечети и там передавали муллам. Таким образом муллы получали инструктаж: что именно им необходимо говорить во время проповедей и как вести себя. Можно написать целую диссертацию о роли магнитофонных кассет в иранской революции. Тогда все это было для меня сенсацией, я не представлял себе размеров шиитской конспирации и думаю, что шах тоже не мог себе этого представить, даже если он и получал какую-то информацию. В тот день я понял, что рядом со мной существует другой, подземный мир, абсолютно мне неизвестный».)

Они вернулись в город.

В течение следующих недель были написаны новые воззвания и письма протеста. Повсюду проходили тайные чтения и дискуссии. В ноябре образовались подпольные студенческие союзы и комитет защиты прав человека. Махмуд иногда посещал близлежащие мечети, видел в них толпы людей, но царивший там

климат чрезмерной набожности был ему по-прежнему чужд, он не мог найти эмоционального контакта с этим миром. «А если подумать, – размышлял он, – то к кому эти люди могут обратиться, куда пойти? Большинство из них не умеет даже читать и писать. Год или месяц назад они пришли в большой город из затерянных в пустыне или в горах деревень, где ничего не менялось тысячелетиями. Они попали в непонятный для них и чужой мир, который обманывает, использует их. Они ищут укрытия, облегчения своей доли и защиты и точно знают, что в новой действительности один лишь Аллах тот же, что и в деревне, всегда и везде».

Махмуд много читал, переводил на фарси Джека Лондона и Киплинга. Вспоминая годы, проведенные в Англии, он думал, насколько отличается Европа от Азии, и повторял слова Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись» Не сойтись и не понять друг друга. Азия отвергнет трансплантат из Европы как чужое тело. Европейцы могут обижаться, но это мало что изменит. В Европе сменяются эпохи, новая вытесняет старую, земля очищается от прошлого, и современному человеку сложно понять своих предков. В Азии все по-другому, здесь прошлое так же живо, как и настоящее, непредсказуемый и жестокий каменный век сосуществует с холодным, расчетливым веком электроники, они живут в одном человеке, который в равной степени – потомок Чингисхана и ученик Эдисона, – если, конечно, он вообще когда-либо сталкивался с миром Эдисона.

(«Это был брат. Я видел, что он невероятно взволнован. Еще в коридоре он сказал одно слово – «кошмар»! Брат не хотел садиться, ходил по комнате, говорил сбивчиво. Сказал, что сегодня на улицах Кума полиция стреляла в людей. Пятьсот убитых. Погибло много женщин и детей. Все началось с пустяка. В газете «Этелат» появилась статья, критикующая Хомейни. Написал ее кто-то из придворных или правительства. Автор статьи называл Хомейни иностранцем, что в нашем представлении носит пренебрежительный оттенок. Когда газета появилась в Куме, городе Хомейни, люди начали собираться на улицах и обсуждать статью. Потом вышли на

главную площадь, которую тут же окружила полиция. Полицейские появились и на крышах. Какое-то время ничего не происходило, возможно, велись переговоры с Тегераном. Потом какой-то офицер приказал людям расходиться, но никто не пошевелился. Наступила тишина. В этой тишине с крыш и улиц, выходящих на площадь, начали стрелять. На площади возникла паника, люди хотели бежать, но улицы оказались заблокированы стрелявшими полицейскими. «Вся площадь была в трупях», – говорил брат. Из Тегерана пришло подкрепление, и теперь в городе проходят массовые аресты. «Погибли абсолютно невинные люди, – сказал он, – единственное их преступление заключалось в том, что они стояли на площади». Помню, на следующий день весь Тегеран был взбудоражен, чувствовалось, что скоро наступят черные, страшные дни».)

МЕРТВЫЙ ОГОНЬ

Дорогой Господь Бог,
Почему ты не оставляешь солнце на ночь,
когда оно нужно нам больше всего?

Барбара

(«Письма детей Господу Богу», изд-во «Рах», 1978)

Конец правлению шаха пришел вместе с революцией. Она разрушила дворец и погребла монархию. А началось все с незначительной на первый взгляд ошибки, которую допустила монаршая власть и тем самым обрекла себя на гибель.

Как правило, причины революции ищут в объективных предпосылках – в повсеместной нищете, притеснениях, усугубляющем ситуацию злоупотреблении властью. Однако этот взгляд хоть и точен, но все же односторонен. Ведь в таком же положении находятся сотни стран, а революции в них вспыхивают далеко не всегда. Для того чтобы взрыв произошел, необходимы осознание народом степени собственной нищеты и притеснений со стороны власть имущих, а также абсолютная убежденность в том, что такое качество жизни не является следствием естественного порядка вещей. Самое интересное, что в данном случае одного опыта, пусть и весьма болезненного, недостаточно. Надо, чтобы кто-то облек все это в слова. Потому-то тираны больше, чем петарды и стилета, боятся слов, не подвластных их контролю, слов, витающих в воздухе и готовых в любой миг взорваться, слов, не одетых в парадные мундиры и не снабженных официальной печатью. И все же бывает так, что именно слова в мундире и с печатью вызывают революцию.

Следует отличать революцию от бунта и государственного или дворцового переворота. Перевороты

можно запланировать, революцию – никогда. Ее начало и даже конкретный час могут явиться неожиданностью для всех, в том числе для самих революционеров. Люди оказываются перед лицом стихии, внезапно появляющейся и разрушающей все на своем пути. Разрушающей с такой беспощадностью, что в конце концов она может уничтожить и сами лозунги, призывавшие к революции.

Мнение, что народы, обиженные историей (а таких большинство), живут с вечной мыслью о революции и видят в ней самый простой выход из ситуации, ошибочно. Каждая революция – драма, а человек инстинктивно избегает драматических ситуаций. Даже если он и попадает в нее, то начинает лихорадочно искать из нее выход, стремится к покою и – чаще всего – к повседневности. Поэтому революции никогда не делятся долго. Это всего лишь крайняя мера, и если народ решается к ней прибегнуть, то только потому, что его опыт показал: иного выхода нет. Все прочие средства уже испробованы.

Каждой революции предшествует состояние всеобщего истощения и – на этом фоне – повышенной агрессии. Власть не может терпеть народ, который ее раздражает, а народ не переносит власть, которую ненавидит. Власть уже растратила все доверие людей, народ же потерял остатки терпения и сжимает кулаки. В воздухе – напряженность и невыносимая духота. Мы поддаемся психозу страха. Грядет разрядка. Мы чувствуем это.

Если говорить о технике борьбы, то истории известны два типа революций. Первый тип – революция штурмующая, второй – осаждающая. В первом случае судьба революции, ее успех зависят от силы первого удара. Ударить и занять как можно большую территорию! Это важно, поскольку революция первого типа менее продумана и происходит внезапно. Противник побежден, хотя при отступлении и сохраняет часть сил. Он будет контратаковать, принуждать победителей

к отступлению. Поэтому чем сильнее первый удар, тем большую территорию, несмотря на уступки, можно будет сохранить. В штурмующей революции наиболее радикальным является первый этап. Последующие этапы будут представлять собой медленное, но неперемное отступление к той точке, в которой обе силы – взбунтовавшаяся и консервативная – придут к компромиссу. По-другому действует механизм осаждающей революции: ее первый удар обычно слаб, и потому сложно предположить, станет ли именно он предвестником катаклизма. Но вскоре события набирают темп, ситуация становится драматичной. В них вовлекается все большее число людей. Стены, за которыми прячется власть, постепенно дают трещины и рушатся. Успех осаждающей революции – в решительности восставших. В их силе воли и выдержке. Еще один день! Еще одно усилие! В конце концов ворота не выдерживают натиска. Толпа проникает внутрь и празднует победу.

Революцию провоцирует власть. Разумеется, бессознательно. Ее стиль жизни, способ правления становятся в конце концов провокацией. Это происходит, когда в среде элиты укореняется чувство безнаказанности. Нам все разрешено, мы все можем. Это иллюзия, не лишенная, однако, рациональных оснований. Действительно, какое-то время кажется, что они могут все. Скандал за скандалом, одно беззаконие за другим сходят им с рук. Народ терпеливо и настороженно молчит. Боится и еще не чувствует собственной силы. Но в то же время он ведет счет обидам и в определенный момент подводит итог. Выбор момента – величайшая загадка истории. Почему революция началась именно в этот день, а не в какой-либо другой? Почему именно это событие на него повлияло? Ведь еще вчера власть позволяла себе совершать более эксцентрические выходы, и никто на них не реагировал. «Что я сделал, – удивленно спрашивает правитель, – почему они вдруг так взбесились?» Да уж сделал: у народа лопнуло терпение. Но где проходит граница терпения, как ее определить? В каждом отдельном случае ответ будет иным, если вообще здесь можно что-то определить. Ясно одно:

правители, которые стараются не переходить черту человеческого терпения, могут рассчитывать на долгое правление. Но таких немного.

Каким образом шах нарушил эту границу и тем самым вынес себе приговор? Все началось из-за статьи в газете. Неосторожное слово может взорвать самую большую империю, и власть должна об этом помнить. Она вроде и помнит, но в какой-то момент ее подводит инстинкт самосохранения – спесивая и уверенная в себе власть в конце концов допускает грубую ошибку и гибнет. 8 января 1978 года в правительственной газете «Этелат» появилась статья, направленная против Хомейни, который, находясь в эмиграции, продолжал критиковать шаха. Преследуемый тираном, а позже изгнанный из страны, он был идиологом и совестью народа. Уничтожить миф о Хомейни значило уничтожить святость, сокрушить надежды униженных и оскорбленных. В этом была цель статьи.

Что нужно написать, чтобы покончить с противником? Лучше всего доказать, что он человек чужой. С этой целью мы создаем категорию настоящей семьи. Мы здесь, ты и я, власть и народ, мы – настоящая семья. Мы живем в согласии, нам хорошо и свободно. У нас общая крыша, общий стол, мы можем найти общий язык, один всегда поможет другому. Но, к сожалению, мы не одни. Вокруг полно чужих, а они хотят разрушить наш мир и занять наш дом. А кто такой чужой? Чужой – это прежде всего некто худший и в то же время опасный. Если бы он был просто худшим, но при этом вел себя спокойно! Куда там! Он будет мутить воду и вредить. Он будет сеять рознь, морочить головы и вносить раскол. Чужому нет дела до тебя, он – виновник твоих бед. В чем сила чужого? В том, что за ним стоят чужие силы. Чужие силы могут иметь название или быть анонимными, но ясно одно – они могущественны. То есть они могущественны, если мы их недооцениваем, но если мы начеку и ведем борьбу, мы сильнее. А теперь посмотрите на Хомейни. Это человек чужой. Его дед родом из Индии, поэтому возникает во-

прос: чьим интересам служит внук деда-иностранца? Такова была суть первой части статьи. Вторая была посвящена теме здоровья. Как хорошо, что мы здоровы! Ведь наша настоящая семья – здоровая семья. Здоровая и телом, и духом. Кому мы должны быть благодарны за это? Нашей власти, обеспечившей нам хорошую, счастливую жизнь, то есть лучшей власти на свете. Следовательно, кто может выступать против такой власти? Только тот, у кого не в порядке с головой. Раз это лучшая власть, надо быть сумасшедшим, чтобы с ней бороться. Здоровое общество должно изолировать таких полоумных. Как хорошо, что шах выдворил Хомейни из страны, иначе его пришлось бы отправить в сумасшедший дом.

Когда газета со статьей попала в Кум, людей охватило возмущение. Они начали собираться на улицах и площадях. Тот, кто умел читать, читал вслух другим. Взволнованные люди создавали все большие группы, кричали и спорили, ведь не прекращающийся в любом месте, в любое время дня и ночи спор – страсть иранцев. Разгоряченные спором группы людей начали действовать, как магнит, притягивать к себе все новых зевак и слушателей, и в конце концов на главной площади собралась огромная толпа. А именно этого больше всего не любит полиция. Кто разрешил собраться такой огромной толпе? Никто. Такого разрешения не было. Кто разрешил провозглашать лозунги? Кто разрешил махать руками? Полиция знала, что эти вопросы – риторические, но она должна была делать свое дело.

Момент, который впоследствии решит судьбы страны, шаха и революции, наступил, когда присланный из участка полицейский подошел к стоящему с краю человеку и, повысив голос, приказал ему идти домой. И полицейский, и человек из толпы – обычные безымянные люди, но их встреча имела историческое значение. Оба – люди взрослые, немало видевшие, каждый со своим жизненным опытом. Опыт полицейского: если я на кого-то крикну и подниму дубинку, он оцепенеет от ужаса, а потом убежит. Опыт человека из толпы: при виде приближающегося полицейского мне становится страшно, надо бежать. На основании этого со-

ставляем сценарий последующих событий: полицейский кричит, человек убегает, за ним бегут другие, площадь пустеет. Однако на этот раз все происходит по-другому. Полицейский кричит, а человек не убегает. Он стоит и смотрит на полицейского. Чуткий взгляд, еще со страхом, но вместе с тем упрямый и вызывающий. Да! Человек из толпы смотрит с вызовом на власть в лице полицейского. Он стоит на месте, потом оборачивается и видит взгляды окружающих. Они такие же: чуткие, еще со страхом, но вместе с тем упрямые и решительные. Никто никуда не бежит, несмотря на крик полицейского, потом и он замолкает; на миг наступает тишина. Мы не знаем, отдавали ли полицейский и человек из толпы себе отчет в том, что произошло. Человек из толпы перестал бояться, а это и есть начало революции. С этого она и начинается. Прежде, сколько бы раз эти двое ни приближались друг к другу, как сразу между ними вставал третий. Страх. Он появлялся как союзник полицейского и враг человека из толпы. Он диктовал свое право и решал все. Сейчас же эти двое встретились один на один – страх исчез, провалился сквозь землю. Раньше их отношения были полны эмоций – своеобразной смеси агрессии, презрения, бешенства и страха. Но сейчас, когда страх ушел, коварный и ненавистный союз внезапно распался, что-то перегорело, погасло. Эти двое стали друг другу безразличны, не нужны, каждый мог пойти в свою сторону. Поэтому полицейский разворачивается и идет тяжелым шагом в участок, а человек из толпы остается на площади и следит взглядом за исчезающим врагом.

Страх – хищный, ненасытный зверь, сидящий в каждом из нас. Он не дает забыть о себе. Он постоянно парализует и мучает нас, постоянно требует пищи, и мы постоянно должны его кормить. Мы сами заботимся о том, чтобы эта пища была разнообразной. Его любимые блюда – грязные сплетни, плохие новости, панические мысли, кошмарные образы. Среди тысяч сплетен, новостей и мыслей мы всегда выбираем самые плохие, то есть те, которые страх больше всего любит. Только бы удовлетворить его, только бы задобрить чудовище. Вот человек, который, слушая другого, бледнеет

и беспокойно вертится. Что случилось? Он кормит свой страх. А если у нас нет пищи? Мы лихорадочно ее придумываем. А если не можем придумать (что случается редко)? Тогда мы идем к другим людям, спрашиваем, слушаем и собираем новости до тех пор, пока не удовлетворим наш страх.

Все книги о революциях начинаются с раздела об упадке власти или о нищете и страданиях народа. А ведь они должны начинаться с раздела из области психологии – говорить о том, как истерзанный, запуганный человек внезапно преодолевает страх и перестает бояться. Должна быть описана метаморфоза, происходящая порой за одну минуту – как сотрясение, как очищение. Человек избавляется от страха и чувствует себя свободным. Без этого не было бы революций.

Полицейский возвращается в участок и докладывает обо всем коменданту. Комендант посылает солдат и приказывает им занять позиции на крышах домов, окружающих площадь. Сам же едет на машине в центр города и по громкоговорителю призывает народ разойтись. Однако его никто не слушает. Тогда он прячется в безопасном месте и отдает приказ открыть огонь. Град пуль из автоматов обрушивается на головы людей. Начинается паника, суматоха, кто может – бежит. Потом выстрелы прекращаются. На площади остаются убитые.

Неизвестно, видел ли шах фотографии, которые сделала полиция сразу после расстрела. Допустим, видел. А может, не видел. Шах очень много работал, у него могло и не быть времени. Его день начинался в семь часов утра, а заканчивался в полночь. Собственно говоря, отдыхал он только зимой, когда катался на лыжах в Санкт-Морице. Но и там он позволял себе только два-три спуска, а затем возвращался в резиденцию и работал. Вспоминая те дни, Мадам Л. говорит, что жена шаха вела себя в Санкт-Морице весьма демократично. В качестве доказательства она показывает мне фотографию, на которой жена шаха стоит в очереди на подъемник. Вот так, запросто, стоит, опираясь на лыжи,

стройная приятная женщина. «А ведь, – говорит Мадам Л., – у них было столько денег, что она могла потребовать, чтобы построили подъемник лично для нее!»

Покойников здесь заворачивают в белые простыни и кладут на деревянные носилки. Тот, кто несет эти носилки, идет быстрым шагом, а иногда бежит трусцой – это производит впечатление большой спешки. Процессия спешит, слышны крики и причитания, участники траурной церемонии беспокойны и взволнованны. Как будто умерший раздражает их своим присутствием, и они хотят поскорее предать его земле. Позже на могиле они раскладывают еду и поминают покойного, причем приглашают и угощают любого прохожего. Если человек не голоден, ему предложат какой-нибудь фрукт – яблоко или апельсин, но что-нибудь он должен съесть обязательно.

На следующий день наступает период воспоминаний. Люди вспоминают жизнь умершего, его доброе сердце и благородный характер. Длится все это сорок дней. На сороковой день в доме умершего собираются члены семьи, его друзья и знакомые. К дому сходятся соседи, вся улица, деревня – целая толпа людей. Причитающая и предающаяся воспоминаниям толпа (обряд может длиться целые сутки). Постепенно боль и скорбь достигают кульминации, траурного и отчаянного крещендо. Если человек умер естественной смертью, наступившей в свое время, после нескольких часов экстатического и душераздирающего выплескивания эмоций собравшиеся впадают в состояние тупой и покорной отрешенности. Если же смерть была внезапной, наступившей от руки человека, присутствующих охватывает жажда мести. Тогда в атмосфере всеобщего гнева и распаленной ненависти произносится имя убийцы – виновника несчастья. И хотя виновник несчастья может находиться далеко отсюда, люди верят, что в этот момент он дрожит от страха – ведь дни его сочтены.

Народ, угнетенный деспотом, низведенный до роли предмета, униженный, ищет укрытия, места, в котором он мог бы окопаться, отгородиться и быть там

самим собой. Это необходимо, чтобы сохранить свою самобытность, своеобразие и просто – обыкновенность. Весь народ не может эмигрировать, поэтому он совершает путешествие не в пространстве, а во времени, обращается к прошлому, которое по сравнению с мучениями и опасностями окружающей его действительности кажется потерянным раем. Он находит спасение в старых обычаях, настолько старых, а значит, настолько священных, что власть не решается с ними бороться. И под гнетом любой диктатуры наступает – вопреки и назло ей – постепенное возрождение прежних обычаев, верований и символов. Они приобретают новый смысл, новые, неожиданные значения. Сначала процесс идет медленно и незаметно, но по мере того, как диктат власти становится все более невыносимым, процесс набирает обороты, растут его сила и широта распространения. Иногда можно услышать критику – мол, что за возвращение к временам средневековья! Бывает и так. Однако обычно это лишь форма выражения недовольства, к которой прибегают люди. Власть заявляет, что она – символ прогресса и современности? Тогда мы ей покажем, что у нас совсем другие ценности. Во всем этом больше политической строптивости, нежели желания вернуться к забытому миру предков. Как только жизнь станет лучше, старый обычай утратит свое эмоциональное содержание и станет тем, чем и был – некой ритуальной формой.

Детонатором произошедшего далее в данном случае послужил обряд общего поминовения умерших, отмечаемый через сорок дней после их смерти, который под влиянием действий растущей оппозиции внезапно превратился в политический акт. Семейно-соседская церемония постепенно переросла в митинги протеста. На сороковой день после происшедшего в Куме уже во многих городах Ирана люди приходили в мечети, чтобы помянуть тех, кто стал жертвой расстрела. В Тебризе обстановка накалилась настолько, что в городе вспыхнуло восстание. Толпа вышла на улицы, требуя смерти шаха. Армия утопила город в крови. Погибли сотни людей, тысячи были ранены. Спустя сорок дней в городах

наступил траур – пришло время поминовения погибших в Тебризе. В Исфахане отчаявшаяся и разгневанная толпа вышла на улицы. Военные окружили демонстрантов и открыли по ним огонь. Снова убитые. Проходит еще сорок дней – теперь уже в десятках городов собираются траурные процессии, дабы почтить память тех, кто погиб в Исфахане. И вновь демонстрации и расстрелы. Через сорок дней то же самое повторяется в Мешхеде. Затем в Тегеране. И снова в Тегеране. В конце концов – почти во всех городах.

Таким образом, иранская революция развивается в ритме взрывов, идущих один за другим с периодичностью в сорок дней. Каждые сорок дней – взрыв отчаяния и гнева. И всякий раз взрыв все сильнее – все многолюднее процессии и все больше жертв. Механизм террора начал действовать в обратном направлении. Обычно террор используется для запугивания людей, в данном же случае террор власти побуждал народ к дальнейшей борьбе, к новым штурмам.

Реакция шаха была типичной для тирана: сначала нужно ударить и подавить, а уже затем решать, что делать дальше. Сначала показать мускулы, силу, затем смотря по обстоятельствам принять разумное решение. Для тирании важно, чтобы ее считали сильной, и гораздо менее важно, чтобы восхищались ее мудростью. Впрочем, что такое мудрость в понимании тирана? Умение использовать силу. Умный тот, кто знает, как и когда нанести удар. Постоянная демонстрация силы необходима, поскольку в основании любой диктатуры лежат самые низменные инстинкты, которые она высвобождает у подчиненных: боязнь, агрессию по отношению к ближнему, лакейство. Эти инстинкты эффективнее всего пробуждают страх, а источником страха является боязнь силы.

Деспот уверен, что человек – существо подлое. Подлые люди заполняют его двор, составляют его окружение. Терроризируемое общество долгое время ведет себя, как бездумный и покорный сброд. Достаточно его кормить, и он будет послушным. Нужно дать ему

развлечение, и он будет чувствовать себя счастливым. Арсенал политических приемов весьма беден, он не меняется тысячелетиями. Отсюда в политике такое количество дилетантов, уверенных, что они смогут прекрасно править, лишь бы им дали власть. Однако порой происходят самые неожиданные вещи. Накормленная и наразвлекавшаяся толпа перестает быть послушной. Она начинает требовать чего-то большего. Она хочет свободы, жаждет справедливости. Тирани удивлен. Действительность требует, чтобы человек рассматривался во всем его многообразии. Однако такой человек угрожает диктатуре, становится ее врагом, и поэтому она накапливает силы, чтобы его уничтожить.

Диктатура хоть и пренебрегает народом, все же пытается добиться его расположения. Несмотря на то, что она творит произвол, а скорее – потому, что творит произвол, – диктатура пытается создать видимость законности. В этом вопросе она чрезмерно чувствительна и болезненно амбициозна. Кроме того, ее беспокоит (по правде говоря, глубоко скрываемое) чувство неуверенности. Поэтому она не жалеет сил, чтобы доказать себе и другим, какой поддержкой и одобрением пользуется у народа. Даже если это только видимость поддержки, диктатура все равно будет довольна. Ну и что из того, что это всего лишь видимость? Весь мир диктатуры состоит из видимости.

Шах тоже испытывал потребность в одобрении. Поэтому, когда в Тебризе были похоронены жертвы последнего расстрела, в городе организовали демонстрацию в поддержку монарха. На площади были собраны активисты партии шаха – Растахиз. Они несли портреты лидера – над головой монарха было нарисовано солнце. На трибуне появилось все правительство. Перед собравшимися выступил премьер Джамшид Амузегар. Выступавший задавался вопросом: как случилось, что несколько анархистов и нигилистов могли нарушить единство народа и его спокойную жизнь? Он делал акцент на малой численности диверсантов. Их так мало,

что о них нечего и говорить. Это всего лишь горстка людей. «К счастью, – сказал он, – по всей стране звучат слова осуждения тех, кто хочет разрушить наши дома и благосостояние». Затем была принята резолюция в поддержку шаха, и все ее участники быстренько разошлись по домам. Большинство демонстрантов развезли на автобусах в соседние города, откуда их специально привозили в Тебриз.

После демонстрации шах почувствовал себя лучше. Казалось, он снова твердо стоит на ногах. До этого шах играл картами, крапленными кровью. Сейчас же он решил играть чистыми. И, чтобы завоевать симпатию народа, убрал нескольких офицеров – командиров отрядов, стрелявших в жителей Тебриза. В среде генералов появились недовольные. Чтобы их успокоить, шах приказал стрелять в жителей Исфахана. Народ ответил взрывом гнева и ненависти. Желая успокоить народ, шах убрал шефа САВАК, что возмутило тайную полицию. Дабы задобрить саваковцев, шах разрешил им арестовывать всех, кого они захотят. Так, уступая и нашим, и вашим, он шаг за шагом приближался к краю пропасти.

Шаха обвиняют в нерешительности. Говорят, политик должен быть решительным. Но в какой мере решительным? Шах был решительным, когда нужно было удержаться на троне – для этого он использовал все способы. Он стрелял и проводил демократические реформы, сажал в тюрьмы и выпускал на свободу, одних убирал, других повышал по службе, угрожал и хвалил. Но все насмарку. Просто люди больше не хотели шаха, не хотели такой власти.

Шаха погубило тщеславие. Он считал себя отцом народа, а народ выступил против него. Шах очень переживал по этому поводу, был очень обижен. Он любой ценой (к сожалению, и ценой крови) стремился вернуть давний, годами поддерживаемый образ счастливого народа, который бьет поклоны благодарности своему добродетелю. Но он забыл, что живет во времена, когда народы борются за свои права, а не за чьи-либо милости.

Возможно, его погубило также то, что он воспринимал себя слишком серьезно. Он и вправду верил, что иранцы обожают его, считают идолом и образцом для подражания. И вдруг он увидел взбунтовавшихся людей. Это было непонятно. Психика шаха этого не выдержала – потому-то его решения были внезапными, истеричными, сумасбродными. Ему не хватило доли цинизма. Ведь он мог тогда сказать: «Демонстрации? Ну и пусть! Как долго они смогут устраивать демонстрации? Полгода? Год? Думаю, я выдержу. В любом случае из дворца я никуда не двинусь». И разочарованные, озлобленные люди, хочешь не хочешь, разошлись бы в конце концов по домам, поскольку вряд ли кто-то согласится провести всю свою жизнь на демонстрациях. Однако шах не умел ждать. А в политике это необходимо.

Погубило шаха и незнание собственной страны. Всю жизнь он провел во дворце. А если и покидал его, то с тем же ощущением, с каким мы выставляем голову на мороз из теплой избы. Выглянуть на миг – и быстро назад! Жизнью всех дворцов правят одни и те же деформирующие и разрушающие законы. Так было с незапамятных времен, так есть и так будет. Можно построить десятки новых дворцов, но в них тут же начнут действовать те же законы, что и во дворцах, построенных пять тысяч лет назад. Единственный выход – воспринимать дворец как место временного пребывания, как трамвай или автобус. Мы садимся в него на остановке, какое-то время едем, но потом все-таки выходим. И еще надо помнить о том, чтобы выйти на нужной остановке, не проехать ее.

Самое сложное – это представить себе жизнь других, живя во дворце. Или собственную, но за пределами дворца. Надо сказать, человеку довольно трудно вообразить себя в такой ситуации. Но желающие помочь всегда найдутся. К сожалению, иногда при этом гибнет много людей. Проблема чести в политике. Де Голль – человек чести. Он проиграл выборы, навел порядок на своем письменном столе, затем покинул дворец и ни-

когда больше в него не возвращался. Дело в том, что он хотел управлять страной при одном обязательном условии: что его кандидатуру одобряет большинство. И, когда большинство его не приняло, он ушел. Но сколько в мире таких политиков? Некоторые будут плакать, но с места не двинутся, замучают народ, но не пошевелятся. Их выставят в одну дверь, они войдут в другую, их спустят с лестницы, но они начнут снова по ней карабкаться. Будут оправдываться, лебезить, лгать и кокетничать – лишь бы остаться или – лишь бы вернуться. Они будут показывать руки: смотрите, они не в крови. Но сам тот факт, что надо показать руки, покрывает их величайшим позором. Они будут выворачивать карманы – вот, пожалуйста, в них всего-то ничего. Но насколько же унижен сам факт выворачивания карманов! Шах, покидая дворец, плакал. В аэропорту тоже плакал. А позже в интервью рассказывал, сколько у него денег и что их меньше, чем все думают. Как же все это жалко и ничтожно!

Целыми днями я бродил по Тегерану. Собственно говоря, без смысла и без цели. Я бежал от пустоты гостиничной комнаты, в которой не мог находиться, а также от назойливой, злобной ведьмы – моей уборщицы. Она постоянно требовала денег. Брала мои чистые, выглаженные рубашки, которые я получал из прачечной, бросала в воду, мяла, вешала на веревке и требовала денег. За что? За то, что испортила мне рубашки? Из-под чадры постоянно торчала ее худая рука. Я знал, что у нее нет денег. Но у меня их тоже не было. Этого она понять не могла. Человек, приехавший издалека, должен быть богатым. Хозяйка гостиницы разводила руками: ничего не могу поделать. Последствия революции, мой господин, теперь власть у этой женщины! Хозяйка считала меня своим естественным союзником, контрреволюционером. Она считала, что у меня либеральные взгляды, а против либералов (как людей середины) больше всего и боролась. Выбирай между Богом и Дьяволом! Официальная пропаганда требовала от каждого четкой определенности, начинался период чисток и того, что называлось «приглядывать друг за другом (чтобы не украл)».

В прогулках по городу прошел декабрь. Наступал 1979 год. Позвонил знакомый: они устраивают торжество, настоящую, хоть и тщательно замаскированную, вечеринку и приглашают меня прийти. Но я сказал, что у меня другие планы. «Какие планы?» – удивился знакомый. И действительно, что можно было делать в Тегеране в такой вечер? «Странные планы», – ответил я, и это было недалеко от истины. Я решил в новогоднюю ночь пойти к зданию американского посольства и посмотреть, как в это время выглядит место, о котором сейчас говорил весь мир. Так я и сделал. Вышел из гостиницы в одиннадцать – это недалеко, километра два под горку. Было ужасно холодно, дул сухой, морозный ветер, видимо, в горах бушевала метель. Я шел по пустым улицам, ни прохожих, ни патрулей, только на площади Валлад сидел продавец орешков, закутанный в теплые шали так же, как наши продавщицы осенью на Польной. Я взял пакетик орешков и дал ему горсть риалов, много – это был мой новогодний подарок. Он не понял. Отсчитал сколько нужно, а остальное вернул с серьезным, полным достоинства выражением лица. Мой жест, который должен был помочь какому-то мимолетному сближению с единственным человеком, встреченным в вымершем и обледенелом городе, был отвергнут. Я пошел дальше, поглядывая на все более скудные витрины магазинов, свернул в Тахте-Джамшид, прошел мимо сгоревшего кинотеатра, сгоревшего банка, пустой гостиницы и темных офисов авиакомпаний. Наконец подошел к посольству. Днем это место напоминает большую ярмарку, кочевье, какой-то шумный политический луна-парк, где можно выкричатся, выругаться. Сюда можно прийти, оскорбить всех сильных мира сего, и ничего тебе за это не будет. Поэтому желающих хоть отбавляй – здесь собираются огромные толпы. Но сейчас – а приближалась полночь – не было никого. Я словно ходил по большой пустой сцене, которую давно покинул последний актер. Остались только небрежно расставленные декорации и удивительная атмосфера покинутого людьми места. Ветер развевал обрывки транспарантов и хлестал ими по большому плакату, на котором стадо чертей грелось у адского огня. Здесь же Картер

в «звездном» цилиндре потряхивал мешком с золотом, а рядом с ним вдохновенный имам Али готовился к мученической смерти. На трибуне, с которой экзальтированные ораторы доводили толпу до состояния гнева, стояли микрофон и ряды динамиков. Вид немых динамиков еще больше усиливал ощущение пустоты и омертвления. Я подошел к главному входу. Как всегда, он был закрыт на цепь и висячий замок; затвор, который выломали при штурме посольства, позже так и не починили. Перед воротами, опершись о высокую кирпичную стену, стояли, съезжившись от мороза, два молодых караульных с автоматами на плече – студенты, приверженцы имама. Мне показалось, что они дремлют. В глубине деревьев видно было освещенное здание, где находились заложники. Но как я ни всматривался в окна, никто в них не появился – ни человек, ни тень. Я взглянул на часы. Полночь, по крайней мере в Тегеране была полночь, начинался Новый год, где-то на свете били часы и лилось шампанское, повсюду царили радость и воодушевление, в украшенных залах в самом разгаре большой бал. Это происходило как будто на другой планете, с которой не доносились сюда даже самые слабые отголоски, не проникал даже луч света. Стоя на морозе, я вдруг задумался, почему я покинул ту планету и оказался здесь, в пустом и угнетающем душу месте. Не знаю. Просто сегодня вечером я подумал, что должен быть здесь. Я никого не знал – ни тех пятидесяти американцев, ни этих двух иранцев, я даже не мог найти с ними общего языка. Может, думал я, здесь что-нибудь произойдет? Но ничего не произошло.

Приближалась годовщина отъезда шаха и падения монархии. По случаю этой даты по телевизору показывали десятки однотипных фильмов о революции. В них повторялись те же картины и ситуации. Первую часть фильмов составляли сцены огромного шествия. Сложно описать степень его грандиозности. Широкая, бурлящая, бесконечная река людей, плывущая по главной улице с утра до вечера. Потоп, внезапный потоп, который через миг поглотит и затопит все. Лес поднятых, ритмично грозящих кулаков, грозный лес. Толпы

поющие, толпы скандирующие: «Смерть шаху!» Мало общих планов, мало лиц. Операторы заморожены видом надвигающейся лавины, поражены размахом явления, они как будто стоят у подножия Эвереста. В течение последних месяцев революции миллионные демонстрации прошли по улицам всех городов. Толпы были беззащитны – их силу составляли многочисленность и ожесточенная, непоколебимая решимость. Люди вышли на улицы, это необычное, возникшее одновременно во всех городах столпотворение было феноменом иранской революции.

Вторая часть была более драматичной. Операторы стоят с камерами на крышах домов. Сцену, которая должна произойти, будут снимать сверху, с высоты птичьего полета. Сначала нам показывают, что происходит на улице. На ней стоят два танка и два бронетранспортера. На проезжей части и тротуарах солдаты в касках и пятнистых куртках уже заняли боевые позиции. Они ждут. Теперь операторы показывают приближающуюся демонстрацию. Поначалу едва заметная в далекой перспективе улицы, она с каждой минутой становится видна все более отчетливо. Да, это начало шествия. Идут мужчины, рядом женщины и дети. Все одеты в белое. Это значит, что они готовы умереть. Операторы показывают их лица – еще живые, их глаза. Дети, уже уставшие, но спокойные, с интересом ждут, что будет дальше. Толпа, идущая прямо на танки; толпа загипнотизированная (заколдованная? лунатичная?), как будто ничего не замечает, как будто она шагает по безлюдной земле; толпа, которая в этот самый момент уже начинает подниматься в небо. Изображение дрожит, потому что дрожат руки операторов, а в динамиках слышны треск, выстрелы, свист пуль и крики. Крупным планом солдаты, перезаряжающие автоматы. Крупным планом башня танка, поворачивающаяся то вправо, то влево. Крупным планом офицер, у которого каска сползла на глаза. Крупным планом проезжая часть, внезапно камера начинает скользить по стене противоположного дома, затем по крыше, по трубе, светлый фон, фрагмент облака, пустые кадры и темнота. На экране написано, что это была по-

следняя съемка погибшего оператора, но живы другие, и они тоже оставили свои свидетельства.

В третьей части показывалось место побоища. Лежат убитые, какой-то раненый ползет в сторону ворот, едут машины «Скорой помощи», бегают какие-то люди, кричит, протягивая руки, женщина, коренастый, мокрый от пота мужчина пытается поднять чье-то тело. Толпа отступила и, разбитая, хаотично рассеивается по боковым улицам. Низко над крышами пролетает вертолет. На улицах неподалеку уже восстановилось движение, началась обычная жизнь города.

Еще я помню такую сцену: идет демонстрация. Проходя мимо больницы, люди замолкают, чтобы не потревожить больных. Или другая картина: в самом конце демонстрации идут мальчики и собирают в корзины мусор. Дорога, по которой прошла демонстрация, должна быть чистой. Фрагмент фильма: дети возвращаются из школы. Слышат стрельбу. Бегут прямо под пули, туда, где военные стреляют в демонстрантов. Они вырывают из тетрадей листы и окунают их в разлитую по тротуару кровь. И, размахивая в воздухе этими листочками, дети бегут по улицам и показывают их прохожим. Это предупредительный знак – осторожно, там стреляют! Несколько раз повторяли фильм, сделанный в Исфахане. По большой площади идет демонстрация – море голов. Неожиданно со всех сторон военные открывают огонь. Люди бросаются бежать, возникает сутолока, крики, беспорядочное движение, в конце концов площадь пустеет. И в тот момент, когда все они скрываются из виду, открывая голую плоскость огромной площади, мы замечаем в самом центре ее безногого инвалида на коляске. Он тоже хочет бежать, но одно колесо заело (на пленке не видно, почему). Он отчаянно пытается сдвинуть коляску с места, ведь вокруг свистят пули, и инстинктивно закрывает голову руками, но отъехать не может и крутится на одном месте. Сцена эта настолько шокирует, что солдаты на миг прекращают стрелять, как будто ожидая специального приказа. Наступает тишина. Мы видим широкий, пустой план,

и только в центре едва заметна согнутая фигура, похожая на раненое, умирающее насекомое, – одинокий человек, который еще борется со сдавливающей его сетью. Но длится это недолго. Солдаты вновь открывают стрельбу, имея перед собой уже только одну мишень. Через минуту она перестанет шевелиться и останется в центре площади на час или два, как памятник.

Операторы слишком часто используют общие планы, пропуская тем самым детали. А ведь с их помощью можно показать практически все. В капле сосредоточена вся Вселенная. Частное нам ближе, чем общее, мы легче идем с ним на контакт. Мне не хватает крупных планов людей, принимающих участие в шествии. Мне не хватает разговоров. Вот человек, идущий вместе со всеми, – сколько же в нем надежды! Он идет, потому что надеется на что-то. Идет, веря, что у него получится сделать дело, а может, даже несколько дел. Он уверен, что его жизнь изменится. Он думает: если мы победим, больше никто не будет обращаться со мной как с собакой. Он думает об обуви. Всей семье он купит нормальную обувь. Он думает о доме. Если мы выиграем, я начну жить по-людски. Новый мир: он, обычный человек, будет знать министра и с его помощью решит все проблемы. Да что там министр! Мы создадим комитет и возьмем власть в свои руки! У него есть и другие мысли, планы, менее ясные и четкие, но все они хорошие, все пробуждают надежду, поскольку у них есть главное – они исполнятся. Он взбудоражен, чувствует себя сильным, ведь он впервые руководит своей судьбой, на что-то влияет, что-то решает, он е с т ь.

Однажды я наблюдал, как возникает шествие. По улице, которая вела в аэропорт, шел человек и пел. Это была песня об Аллахе – Аллах Акбар! Красивый, раскатистый голос. Он шел, не обращая внимания ни на что и ни на кого. Я пошел за ним, желая послушать его пение. Через минуту к нему присоединилась группа игравших на улице детей. Они тоже начали петь. Затем группа мужчин, потом – с краю, робко – несколько женщин. Когда же идущих стало около сотни, толпа начала быстро уве-

личиваться – практически в геометрической прогрессии. Толпа притягивает толпу, как заметил Канетти. Иранцы любят находиться в толпе, толпа их укрепляет, повышает самооценку. Они выражают себя в толпе, ищут ее; вероятно, в толпе они избавляются от чего-то, что носят в себе, когда остаются одни, и что тяготит их.

На той же улице (когда-то она называлась Шаха Реза, теперь – Энгелаб) старый армянин продает пряности и сухофрукты. Поскольку помещение магазина старое и захламленное, продавец раскладывает товар прямо на тротуаре. Здесь стоят мешки, корзины и банки с изюмом, миндалем, финиками, орешками, оливками, имбирем, гранатами, терновником, перцем, просом и другими деликатесами, названий и назначения которых я не знаю. Издалека на фоне серой, обшарпанной штукатурки это выглядит как разноцветная, богатая палитра, как художественная композиция, сделанная со вкусом и фантазией. К тому же всякий раз продавец меняет порядок цветов, иногда коричневые финики лежат рядом с песочным арахисом и зелеными оливками, иногда белый точеный миндаль занимает место мясистых фиников, а там, где было золотистое просо, краснеет кучка перечных стручков. Однако я хожу сюда не только ради того, чтобы порадовать глаз. Магазины являются источником информации о том, что будет происходить в политике. Улица Энгелаб – бульвар демонстрантов. Если утром пряности не выставлены, значит, армянин приготовился к горячему дню – будет демонстрация. Он предпочел спрятать пряности и фрукты, чтобы их не растоптала толпа. Мне же необходимо определить, кто устраивает демонстрацию и зачем. Когда же на улице Энгелаб «палитра» армянина переливается всеми цветами радуги, я знаю, что день будет спокойным, без происшествий, и я с чистой совестью могу пойти к Леоноу и выпить стаканчик виски.

Иду дальше по улице Энгелаб. Здесь есть пекарня, в которой можно купить свежий, горячий хлеб. Хлеб в Иране имеет форму большой плоской лепешки. Печь,

в которой пекут лепешки, выглядит как вырытый в земле трехметровый колодец с выложенными шамотом стенами. На его дне горит огонь. Если женщина изменит мужу, ее бросают в такой горящий колодец. В пекарне работает Разак Надери, ему двенадцать лет. Про него обязательно нужно снять фильм. В девять лет мальчик приехал в Тегеран искать работу. В родной деревне около Занджана (это в тысяче километров от столицы) он оставил мать, двух младших сестер и трех младших братьев. Разак должен содержать семью. Он встает в четыре утра и садится у печи. В печи горит огонь, жара страшная. Длинной палкой Разак лепит хлеб к стенам и следит за тем, чтобы вынуть его вовремя. Так он работает до девяти вечера. Заработанные деньги посылает матери. Все его имущество – котомка и одеяло, которым он укрывается ночью. Разак постоянно меняет работу и часто оказывается безработным. Он знает, что ему некого в этом винить. Дело в том, что каждые три-четыре месяца он начинает очень тосковать по матери. Какое-то время мальчик борется с этим чувством, а потом садится в автобус и едет в родную деревню. Он очень хотел бы остаться, но не может – надо работать, ведь он единственный кормилец в семье. Поэтому Разак снова возвращается в Тегеран, но на его место уже взяли кого-то другого. Тогда он идет на площадь Гомрука, где собираются безработные. Это рынок дешевого труда: здесь предлагают работу за копейки. Разак ждет неделю или две, прежде чем кто-то берет его на работу. Весь день он стоит на площади, мерзнет, мокнет и голодает. В конце концов появляется человек, который обращает на него внимание. Разак счастлив – он снова работает. Но радость быстро проходит: вскоре он опять начинает жутко тосковать, опять едет к матери и вновь возвращается на эту площадь. Рядом с Разаком существует огромный мир – мир шаха, революций, Хомейни и заложников. Все говорят только об этом мире. Но мир Разака больше. Он такой большой, что Разак бродит по нему и не может найти из него выход.

Улица Энгелаб осенью и зимой 1978 года. По ней постоянно проходят большие демонстрации протеста. То же самое происходит во всех больших городах. Бунт

охватил страну. Начинаются забастовки. Бастуют все, стоят транспорт и промышленность. Несмотря на десятки тысяч жертв, давление постоянно растет. Но шах все еще на троне, дворец не сдается.

Каждая революция – это противостояние двух сил: структуры и движения. Движение атакует структуру, стремится ее уничтожить, структура защищается, хочет уничтожить движение. Обе силы, одинаково мощные, обладают разными свойствами. Свойства движения: стихийность, спонтанная, динамичная экспансивность и кратковременность. Свойствами же структуры являются инертность, устойчивость, потрясающая, почти инстинктивная способность выжить. Структуру достаточно легко создать и значительно трудней уничтожить. Она может существовать очень долго и даже пережить те доводы, которые когда-то легли в основу ее создания. В мире создано множество слабых фиктивных государств. Но государство – это уже структура, и ни одно из них никогда не будет удалено с карты мира. В своем мире структуры как бы поддерживают друг друга. Если возникает угроза для одной из них, другие, родственные ей, немедленно встают на ее защиту. Основной чертой каждой структуры является способствующая выживанию эластичность. Под давлением она способна сжаться, втянуть живот и ждать момента, когда можно будет вновь занять свое место. Примечательно, что новое распространение структуры происходит именно в тех направлениях, в которых происходило сжатие. Словом, каждая структура стремится к первоначальному status quo, считая его идеальным. В этом также проявляется инертность структуры. Она способна действовать только по раз и навсегда запрограммированной схеме. Если же ей дать новую программу, она не отреагирует. Она будет ждать предыдущую программу. Структура может вести себя и как «неваляшка». Вроде бы падает, но тут же снова поднимается. Движение, не обладающее свойствами структуры, долго с ней борется, потом слабеет и в конце концов сдается.

Театр шаха. Шах был режиссером, он хотел создать театр высочайшего, мирового уровня. Он любил зрителей и хотел им нравиться. Однако шаху не хватало понимания того, что такое пьеса, что такое ум и воображение режиссера, он думал, что пьесе достаточно иметь название и деньги. В его распоряжении была огромная сцена, где действие могло разворачиваться во многих местах одновременно. На этой сцене он решил поставить драму под названием «Великая Цивилизация». За бешеные деньги из-за границы ему доставили декорации: всякого рода приборы, устройства, машины, целые горы цемента, кабелей и пластмассы. Значительную часть декораций составлял военный реквизит: танки, самолеты, ракеты. Шах ходил по сцене довольный и гордый. Он слышал, как из множества усилителей со всех сторон разносятся слова признания и похвалы в его адрес. Лучи прожекторов пробежали по декорациям и останавливались на фигуре шаха. Он играл в их свете. Это был театр одного актера, в котором и актером, и режиссером был шах. В остальных ролях были задействованы статисты. На верхнем уровне сцены двигались генералы, министры, благовоспитанные дамы, лакеи – придворная камарилья. Потом шли промежуточные уровни. В самом низу толпились статисты низшей категории. Их было больше всего. Они прибывали в города из бедных деревень в надежде на высокие заработки, и шах обещал им золотые горы. Он постоянно находился на сцене, наблюдая за действием и руководя игрой статистов. По его жесту генералы вытягивались по струнке, министры целовали руку, дамы кланялись. Когда он спускался на более низкие уровни и кивал головой, к нему приближались чиновники в ожидании наград и продвижений по службе. Редко и только на миг он появлялся в партере. Статисты, заполнявшие партер, вели себя наиболее апатично. Они были потеряны, дезориентированы, угнетены большим городом и чувствовали себя обманутыми. Им было неуютно среди незнакомых декораций, в жестоком и агрессивном мире, окружавшем их. Их единственным ориентиром в новом пейзаже была мечеть, так как мечеть была и у них в деревне. Поэтому они шли в мечеть.

Единственной близкой им фигурой в городе был мулла; мулла был и в их деревне, там он – высший авторитет: он решает споры, делит воду, находится рядом с человеком со дня его рождения и до самой смерти. Поэтому и здесь они тянулись к муллам, прислушивались к ним, их голоса напоминали им о детстве и потерянной земле.

Действие пьесы разворачивается на нескольких уровнях одновременно, многое происходит на сцене. Декорации начинают двигаться и светиться, вращаются колеса, дымят трубы, танки ездят туда-сюда, министры целуют шаха, чиновники идут за наградами, полицейские хмурят брови, муллы говорят, статисты молчат и работают. Толчея и движение увеличиваются. Шах постоянно в действии: здесь махнет рукой, там укажет пальцем. Он все время в свете рефлекторов. Однако вскоре на сцене возникает замешательство, все как будто забыли, что им следует играть. Да, они бросают сценарий в мусорную корзину и сами придумывают роли. Бунт в театре! Спектакль превращается в жестокое зрелище. Статисты из партера, давно разочарованные тем, что им мало платят, что ими пренебрегают, идут на штурм верхних уровней. Находящиеся на промежуточных уровнях тоже бунтуют и присоединяются к людям из партера. На сцене появляются черные знамена шиитов, из динамиков слышна боевая песня демонстрантов – Аллах Акбар! Танки ездят туда-сюда, полицейские стреляют. Из минарета доносится протяжный голос муэдзина. На верхнем уровне – невероятное замешательство! Министры пакуют мешки с деньгами и бегут, дамы хватают шкатулки с драгоценностями и исчезают, лакеи беспомощно мечутся. Появляются одетые в зеленые куртки фedaины и моджахеды с оружием в руках. Они захватили военные склады. Солдаты, ранее стрелявшие в толпу, сейчас братаются с народом и носят красные гвоздики, воткнув их в дула автоматов. Сцена засыпана конфетами, так как по причине всеобщей радости продавцы бросают в толпу корзины конфет. Несмотря на полдень, фары всех машин включены. На кладбище – море людей. Они пришли оплакивать погибших. Выступает мать, сын которой

покончил жизнь самоубийством, поскольку отказался стрелять в братьев-демонстрантов. Выступает пожилой аятолла Телегани. Постепенно свет прожекторов гаснет. В финальной сцене с самого высокого уровня, который к тому моменту абсолютно пустеет, опускается в партер павлиний трон – трон шахов, инкрустированный тысячами камней. Он пылает разноцветным, ослепительным заревом. На троне – странная фигура огромных размеров, надменная и могущественная. Она тоже излучает яркий свет. К ее рукам и ногам, к голове и туловищу подключены какие-то провода, кабели и шнуры. Вид этой фигуры вызывает ужас, она пугает, и инстинктивно хочется упасть на колени. Вдруг на сцене появляется группа монтеров – они отключают кабели и перерезают провод за проводом. Свет, излучаемый фигурой, гаснет, теперь она кажется маленькой и самой обычной. Монтеры отходят в сторону, и тут с трона встает худой, пожилой человек – да, обычный мужчина, которого мы можем встретить в кино, кафе или в очереди; он отряхивает костюм, поправляет галстук и покидает сцену, чтобы направиться в аэропорт.

Шах создал систему, способную лишь защищаться, но неспособную приносить людям радость. Это было ее самой большой слабостью и явилось причиной поражения. В основе системы лежало презрение правителя по отношению к собственному народу, а также убеждение, что темный народ нетрудно обмануть, постоянно что-то ему обещая. Но иранская пословица гласит: обещания имеют ценность только для тех, кто в них верит.

Хомейни вернулся в Иран и, прежде чем поехать в Кум, ненадолго задержался в Тегеране. Все жаждали его увидеть, несколько миллионов человек жаждали пожать ему руку. Здание школы, в которой он остановился, осаждали толпы. Каждый считал, что имеет право встретиться с аятоллой. Ведь они боролись за его возвращение, проливали кровь. Повсюду царила атмосфера всеобщей эйфории, воодушевления, люди ходили и похлопывали друг друга по плечу, словно один хотел сказать другому: «Видишь? Мы можем все!»

Как редко переживает народ такие минуты! Но сейчас ощущение победы было вполне естественным. Великая Цивилизация шаха рухнула. Чем она была по сути своей? Чужим трансплантатом, который не прижился. Она была попыткой навязать определенную модель жизни обществу с абсолютно другими традициями и ценностями. Цивилизация была принудительной хирургической операцией, целью которой было удачное ее проведение, а не забота о пациенте, о том, чтобы он был жив и остался при этом самим собой.

Отторжение трансплантата – как же неотвратим этот процесс, если уж он начался! Хорошо, если общество убедится в том, что навязанная ему форма существования приносит больше зла, чем пользы. Тогда оно начнет выражать недовольство – сначала скрыто и пассивно, затем все более открыто и безоговорочно. Оно не успокоится, пока его организм не освободится от чужеродного тела. Оно будет оставаться глухим к уговорам и аргументам. Оно будет вспыльчиво и неспособно к размышлению. Ведь у истоков Великой Цивилизации лежало много благородных замыслов, прекрасных идеалов. Но народ видел их только в карикатурной форме, то есть в той форме, которую на практике приобретал мир идей. И поэтому даже самые возвышенные идеи подвергались сомнению.

А потом? Что случилось потом? О чем еще писать? О том, чем заканчиваются большие потрясения? Грустная тема. Потому что бунт и есть самое большое потрясение и испытание. Посмотрите на людей, участвующих в бунте. Они возбуждены, взволнованы, готовы на жертвы. В этот момент они живут в монотематическом мире, ограниченном только одной мыслью: они жаждут достичь желаемой цели. Все будет подчинено только ей. Любое неудобство становится легкопереносимым, любая жертва не будет казаться слишком большой. Бунт освобождает нас от собственного «я», от повседневного «я», которое кажется нам сейчас маленьким, никчемным и для нас самих чуждым. С удивлением мы открываем в себе неведомые запасы энергии, становимся

способными на такие благородные поступки, что сами диву даемся. И как же мы гордимся тем, что смогли подняться так высоко! Сколько радости в том, что мы смогли сделать так много! Однако приходит момент, когда настроение портится, и все кончается. Еще инстинктивно, по привычке, мы повторяем слова и жесты, мы еще хотим, чтобы было так же, как и вчера, но уже знаем (и это откровение поражает нас), что «вчера» больше не повторится. Мы оглядываемся вокруг и приходим к новому открытию – те, кто был с нами, тоже изменились, что-то в них погасло, перегорело. Внезапно наше единство распадается, каждый возвращается к обычному «я», которое нас стесняет, как плохо сшитая одежда, но мы знаем, что это наша одежда и что другой у нас не будет. Мы с неприязнью смотрим друг другу в глаза, избегаем разговоров. Мы перестали быть друг другу необходимы.

Такое резкое снижение температуры, такая внезапная смена климата приводят к крайне неприятным и угнетающим ощущениям. Начинается день, когда снова должно что-то произойти. Но ничего не происходит. Никто нас не зовет, никто не ждет – мы лишние. Мы начинаем чувствовать огромную усталость, и постепенно нами овладевает апатия. Мы говорим себе: я должен отдохнуть, собраться, восстановить силы. Нам хочется глотнуть свежего воздуха или хотя бы сделать что-то обыденное – убрать квартиру, починить окно. Эти действия защитят нас от приближающейся депрессии. Мы собираемся с силами и чиним окно. Но спокойствия и радости по-прежнему нет, поскольку на душе остался горький осадок.

Мне тоже передалось настроение, какое бывает, когда сидишь у гаснущего костра. Я ходил по Тегерану, в котором исчезали следы вчерашних событий. Они исчезали как-то сразу – иногда казалось, что здесь ничего и не происходило. Несколько сожженных кинотеатров, несколько разрушенных банков – символов чужого влияния. Революция уделяет большое внимание символам, она разрушает одни памятники, а на их месте ставит новые, поскольку хочет увековечить себя, хочет таким ме-

тафорическим способом – жить. А что случилось с людьми? Они превратились в обыкновенных прохожих, вписанных в скучный пейзаж серого города. Они куда-то шли или стояли у уличных печей, грея руки. Они снова были (каждый по отдельности, каждый сам по себе) закрыты и молчаливы. Может, они ждали, что произойдет что-нибудь необычное? Не знаю, не могу сказать.

Все, что составляет внешнюю, видимую часть революции, быстро проходит. Человек, отдельно взятый человек, может выразить чувства и мысли разными способами. Он – несметное богатство, мир, в котором мы постоянно что-то открываем. Толпа, в свою очередь, лишает человека индивидуальности, человек в толпе ограничивается несколькими элементарными действиями. Формы, с помощью которых толпа выражает свои стремления, невероятно бедны и постоянно повторяются – демонстрация, забастовка, митинг, баррикада. Поэтому о человеке можно написать роман, о толпе же – никогда. Когда толпа рассеется, разбредется по домам и больше не соберется, тогда мы скажем, что революция закончилась.

Я начал ходить по комитетам. Комитеты – так назывались органы новой власти. В тесных и захламленных помещениях сидели за столами бородатые люди. Я видел их лица впервые. Придя сюда, я держал в памяти фамилии людей, которые в период правления шаха находились в оппозиции или были на подозрении. Именно они, логически рассуждал я, должны быть теперь у власти. Я спрашивал, где их можно найти. Люди из комитетов не знали. Так или иначе, здесь их не было. Весь сложный порядок, при котором один был у власти, второй – в оппозиции, третий – богател, а четвертый – критиковал, всю эту запутанную и годами существовавшую конструкцию революция сдула с поверхности, как карточный домик. Для заросших верзил, практически не умеющих читать и писать, все те люди, о которых я спрашивал, не имели никакого значения. Какое им было дело до того, что несколько лет назад Хафез Фарман раскритиковал шаха, за что был снят с должности,

а Кульсум Китаб вел себя как подонок и карьерист? Все это в прошлом, тот мир уже не существовал. Революция поставила у власти абсолютно новых людей, еще вчера никому неизвестных. Целыми днями бородачи из комитетов сидели и совещались. О чем? Они совещались о том, что делать. Да, ведь комитет должен чем-то заниматься. Они по очереди выступали. Каждый хотел высказаться, выступить. Видно было, что для них это очень важно. Потом каждый из них мог сказать соседям: я выступил. А люди спрашивали друг друга: ты слышал о его выступлении? Когда он проходил по улице, его могли остановить и сказать с уважением в голосе: у тебя было интересное выступление! Постепенно начала создаваться неформальная иерархия – верх занимали те, у кого были хорошие выступления, внизу же находились интроверты, люди с дефектами речи, множество тех, кто боялся выступать публично или кто считал, что бесконечная болтовня бессмысленна. На следующий день они снова совещались, как будто вчера ничего и не было, как будто все нужно начинать сначала.

Иран – двадцать седьмая революция из тех, что я видел в странах «третьего мира». В дыму и шуме сменялись правители, уходили в отставку правительства, а их кресла занимали другие. Но одно было неизменно, неистребимо, боюсь сказать – вечно: беспомощность. До какой же степени эти иранские комитеты напоминали мне то, что я видел в Боливии и Мозамбике, Судане и Бенине! Что делать? А ты знаешь, что делать? Я? Не знаю. А может, ты знаешь? Я? Я бы пошел на все. Но как? Как пойти на все? Да, это проблема. Все согласятся, что это проблема, которую стоит обсуждать. Душные, прокуренные залы. Хорошие и плохие выступления, несколько и вправду было отличных. После хорошего выступления все чувствуют удовлетворение, ведь они участвовали в чем-то, что действительно удалось.

Меня это так заинтересовало, что я сел в одном из комитетов (делая вид, что жду кого-то, кого не было) и стал наблюдать, как проходит обсуждение простейшего дела. В конце концов, вся жизнь состоит из решения проблем, а цель прогресса в том, чтобы решать их оперативно и ко всеобщему удовольствию. Через мину-

ту вошла женщина за справкой. Тот, кто должен был ее принять, как раз участвовал в дискуссии. Женщина ждала. Люди здесь обладают фантастическим умением ждать, они могут превратиться в камень и бесконечно пребывать в таком состоянии. Наконец этот человек пришел, и начался разговор. Женщина говорила, он спрашивал, женщина спрашивала, он отвечал. Торг торгом, договорились. Начались поиски листка бумаги. На столе лежали разные листки, но ни один не подходил. Человек исчез – наверное, пошел искать бумагу или зашел в бар напротив выпить чаю (было жарко). Женщина молча ждала. Человек вернулся, довольно вытер рот (точно, чай пил), но и бумагу принес. Теперь началась наиболее драматическая часть – поиск карандаша. Нигде его не было: ни на столе, ни в одном из ящичков, ни на полу. Я одолжил ему ручку. Он улыбнулся, женщина с облегчением вздохнула. Наконец он сел писать. Тут он пришел к выводу, что не знает, что именно ему надо писать. Они снова стали разговаривать, человек кивал головой. Наконец документ был готов. Теперь его должен был подписать кто-то главный. Но главного не было. Главный вел дискуссию в другом комитете, с ним связаться не удалось, так как телефон там не отвечал. Ждать. Женщина снова превратилась в камень, человек исчез, а я пошел пить чай.

Потом этот человек научится писать справки и делать массу других вещей. Но через несколько лет произойдет переворот, известный нам человек уйдет, его место займет другой и тоже начнет искать бумагу и карандаш. Та же самая или другая женщина будет ждать, превратившись в камень. Кто-нибудь одолжит свою ручку. Начальники будут заняты дискуссией. Все они, как и их предшественники, снова попадут в заколдованный круг беспомощности. Кто создал этот круг? В Иране его создал шах. Шах думал, что ключом к современности являются город и производство, но он глубоко ошибался. Ключ к современности – деревня. Шах упивался видом атомных электростанций, управляемых компьютерами производственных лент и великой нефтехимией. Но в отсталой стране это только бутафория современности. В такой стране большинство людей

живет в бедной деревне, из которой народ бежит в город. Вместе они составляют молодую, энергичную силу, которая мало что умеет (зачастую это люди без профессии, безграмотные), но у нее большие амбиции, и она готова бороться за все. В городе они находят издавна установленный порядок, так или иначе связанный с правящей властью. Поэтому они сначала обживаются, занимают исходные позиции и – идут на штурм. В борьбе они используют ту идеологию, которую принесли из деревни (обычно это религия). Поскольку они представляют собой силу, которая действительно жаждет продвижения, карьеры, они часто выигрывают. Тогда власть переходит в их руки. Но что с ней делать? Они начинают вести дискуссии и снова попадают в заколдованный круг беспомощности. Народ как-то живет, потому что должен выжить, зато они живут все лучше и лучше. Какое-то время они живут спокойно. Их преемники еще бегают по лугам, пасут верблюдов и стада овец. Но и они подрастут, пойдут в город и начнут борьбу. Что же в этом самое существенное? То, что новые люди вносят во все больше амбиций, нежели умения. В результате с каждым переворотом страна возвращается на исходную позицию, начинает с нуля, поскольку поколение победителей должно с самого начала учиться всему тому, что с трудом освоило побежденное поколение. Значит ли это, что проигравшие были толковее и умнее? Вовсе нет. Генезис предыдущего поколения был идентичным тому, которое заняло его место. Каков же выход из этого круга? Только развитие деревни. Пока отстают деревня, отстают вся страна, даже если в ней – пять тысяч фабрик. Пока молодой человек, переехавший в город, будет ездить в родную деревню как в экзотический край, его народ не станет современным.

Во время дискуссий, проходивших в комитетах на тему: «Что делать дальше», – все были согласны друг с другом в одном: прежде всего отомстить. Начались казни. Они находили удовольствие в этом занятии. На первых страницах газет появились фотографии людей с завязанными глазами и молодых парней, которые в них целятся. Долго и подробно описывалось все про-

исходившее. Что приговоренный сказал перед смертью, как он себя вел, что написал в последнем письме. В Европе казни вызвали огромную волну возмущения. Однако здесь мало кто обращал на это внимание. Для них принцип мести был стар, как мир. Он существовал с незапамятных времен. Шах правил, потом ему отрубали голову, приходил следующий, отрубали голову и ему. А как же по-другому избавиться от шаха? Ведь сам он не уйдет. Оставить шаха или его людей в живых? Тогда они начнут организовывать армию и снова придут к власти. Посадить их в тюрьму? Они подкупят охранников и выйдут на свободу, и начнут уничтожать тех, кто их победил. В такой ситуации убийство – проявление элементарного инстинкта самосохранения. Мы находимся в мире, где закон воспринимается не как инструмент защиты человека, а как орудие уничтожения противника. Да, звучит жестоко, и есть в этом какая-то кошмарная, неумолимая безжалостность. Аятолла Халхали рассказывал нам, группе журналистов, как после вынесения смертного приговора бывшему премьеру ХовеЙде он внезапно усомнился в людях из отряда, которые должны были привести приговор в исполнение. Он боялся, что они могут отпустить премьера. Поэтому он посадил ХовеЙду в свою машину. Была ночь, они сидели в автомобиле и, по словам Халхали, разговаривали. Он не сказал, о чем. И он не боялся, что тот может убежать? Нет, ничего подобного ему и в голову не приходило. Время шло, Халхали думал, в чьи же проверенные руки он может отдать ХовеЙду. Проверенные руки – значит, такие, которые наверняка приведут приговор в исполнение. В конце концов он вспомнил про людей из одного комитета, что недалеко от базара, отвез к ним бывшего премьера и там оставил.

Я пытаюсь понять их, но постоянно попадаю в темное пространство и начинаю по нему блуждать. У них другое отношение к жизни и смерти. Они по-другому реагируют на вид крови. Вид крови вызывает у них напряжение, восторг, они впадают в какой-то мистический транс, я вижу их оживленные жесты, слышу восклицания. К моей гостинице подъехал на новой

машине владелец соседнего ресторана. Прямо из автосалона был доставлен роскошный золотистый «понтиак». Все сбежались, во дворе громко кудхтали раздавленные куры. Их кровью люди сначала обрызгали друг друга, затем начали мазать ею кузов машины. Через минуту автомобиль был красным от крови. Это было крещение «понтиака». Там, где появляется кровь, скапливаются люди, чтобы помочить в ней руки. Они не могли объяснить мне, зачем им это нужно.

Каждую неделю в течение нескольких часов они демонстрируют удивительную дисциплину. Это происходит в пятницу, во время всеобщей молитвы. Утром на большую площадь приходит первый, наиболее ревностный мусульманин, расстилает коврик и становится на колени на его краю. За ним приходит второй и расстилает коврик рядом с первым (хотя вся площадь свободна). Потом появляется следующий верующий, за ним еще один. Потом тысяча других, потом – миллион. Все они расстилают коврики и становятся на колени. Они стоят ровными, четкими рядами, молча, повернувшись в сторону Мекки. Примерно в полдень ведущий пятничную молитву начинает обряд. Все встают, сгибаются в семикратном поклоне, выпрямляются, наклоняются вперед, садятся на колени, припадают лицом к земле, выпрямляются сидя и снова наклоняются вперед. Совершенный, ничем не потревоженный ритм миллиона тел сложно описать, но мне он кажется угрожающим. К счастью, по окончании молитвы ряды сразу же начинают распадаться, становится шумно, и возникает приятный, свободный, расслабляющий балаган.

Вскоре в революционном лагере начались споры. Все были против шаха и хотели его убрать, но будущее каждый представлял по-своему. Часть людей верила, что в стране воцарится такая же демократия, как та, которую они видели во Франции и Швейцарии. Но в борьбе, начавшейся после отъезда шаха, именно они проиграли – интеллигентные, умные, но слабые люди. Они сразу же попали в парадоксальную ситуацию – демократию нельзя навязать силой, за демократию долж-

но высказаться большинство, а большинство хотело того, чего желал Хомейни, – исламской республики. После ухода либералов остались те, кто выступал за республику. Но и между ними вскоре началась борьба, в которой жесткая консервативная линия постепенно брала верх над прогрессивной и открытой. Я был знаком с людьми из обоих лагерей, и всякий раз, когда я думал о тех из них, кто был мне симпатичен, мне становилось грустно. Лидером просвещенных был Бани Садр. Худой, слегка сутулый, всегда в спортивной рубашке, он ходил, убеждал кого-то и постоянно с кем-то дискутировал. У него была тысяча идей, он строил бесконечные планы, писал книги трудным, непонятным языком. В этих странах интеллигент в политике неуместен. У интеллигента слишком развито воображение, он склонен к частым переживаниям и различного рода метаниям. Какая польза от лидера, который сам не знает, чего хочет? Бехешти (жесткая линия) никогда не вел себя подобным образом. Он собирал штаб и начинал инструктировать. Все были ему благодарны, потому что знали, как им поступать и что именно делать. Бехешти командовал шиитскими группировками, у Бани Садра были только друзья и сторонники. Опора Бани Садра – интеллигенция, студенты, моджахеды. Опора Бехешти – толпа, готовая откликнуться на любой призыв муллы. Было очевидно, что Бани Садр проиграет. Но и Бехешти настигла рука Милосердного и Сострадательного.

На улицах появились банды – группы молодых, сильных людей с ножами в карманах. Они нападали на студентов, машины «Скорой помощи» вывозили из университета окровавленных девушек. Начались демонстрации, толпа размахивала кулаками. Но на этот раз кому они грозили? Человеку, который писал книги сложным, непонятным языком. Миллионы людей сидели без работы, крестьяне продолжали жить в убогих мазанках, но разве это было важно? Люди Бехешти были заняты совершенно другим – они боролись с контрреволюцией. Да, они знали, что делать, что говорить. Тебе нечего есть? Негде жить? Мы скажем тебе, кто в этом виноват. Контрреволюционер. Уничтожь его и начнешь

жить по-человечески. Но какой же он контрреволюционер, ведь мы вчера вместе с ним боролись против шаха! Это было вчера, а сегодня он твой враг. Услышав это, разгоряченная толпа шла в наступление, не думая, настоящий ли это враг, но толпу не в чем винить, потому что люди действительно хотят лучше жить и, с давних пор желая этого, не знают, не понимают, почему же, несмотря на постоянные жертвы и отречения, лучшая жизнь все никак не наступает.

Мои друзья находились в угнетенном состоянии. Говорили, что скоро произойдет катаклизм. Всегда, когда приближалось тяжелое время, они, интеллигенты, теряли силу и веру. Они оказывались в темном сумраке, не зная, в каком направлении идти. Их охватывали страх и фрустрация. Они, не пропустившие ни одной демонстрации, сейчас начали бояться толпы. Разговаривая с ними, я думал о шахе. Шах ездил по свету, иногда в газетах можно было увидеть его лицо, еще более осунувшееся. Он до самого конца думал, что вернется на родину. Сам шах не вернулся, но многое из того, что он сделал, осталось. Деспот уходит, но ни одна диктатура с его уходом полностью не умирает. Условие существования диктатуры – темнота толпы, поэтому диктаторы всегда помнят о ней и всячески ее культивируют. И должно пройти не одно поколение, чтобы появился свет. Пока же зачастую те, кто свергал диктатора, невольно и вопреки себе действуют как его наследники, продлевая своим поведением и способом мышления эпоху, которую сами же уничтожали. Это происходит абсолютно подсознательно, и, если их в этом упрекнуть, они ужасно возмутятся. Можно ли во всем винить шаха? Шах существовал внутри определенной традиции и действовал в рамках комплекса обычаев, царивших за сотни лет до него. Очень сложно перейти такие границы, очень сложно изменить прошлое.

Когда я хочу поднять себе настроение и приятно провести время, я иду на улицу Фердоуси, где господин Фердоуси продает персидские ковры. Господин Фердоуси, всю жизнь проведенный в общении с искусством и красотой, смотрит на окружающую действительность

как на второсортный фильм в дешевом и грязном кино-театре. «Все дело в вкусе, – говорит он мне, – самое главное – иметь вкус. Мир выглядел бы по-другому, если бы чуть больше людей обладало хорошим вкусом. Все ужасы (он называет это ужасами) – то есть ложь, измена, воровство, доносы – приводят к общему знаменателю: такие вещи совершают люди, у которых нет вкуса. – Он верит в то, что народ вынесет все и что красоту невозможно уничтожить. – Вы должны помнить, – говорит он мне, разворачивая очередной ковер (зная, что я не куплю его, но желая порадовать мой глаз), – что то, что позволило персам оставаться персами в течение двух с половиной тысяч лет, то, что позволило нам остаться собой, несмотря на такое количество войн, вторжений и оккупаций, – это наша духовная сила, а не материальная; наша поэзия, а не техника; наша религия, а не заводы. Что мы дали миру? Мы дали поэзию, миниатюру и ковер. Как видите, с точки зрения производства абсолютно бесполезные вещи. Но именно в них мы выразили себя. Мы дали миру чудесную, неповторимую бесполезность, которая привела не к облегчению жизни, а лишь к ее украшению, если, конечно, эта разница имеет значение. Потому что, например, для нас ковер – жизненная необходимость. Вы раскладываете его на раскаленной пустыне, ложитесь и чувствуете, что лежите на зеленом лугу. Да, наши ковры напоминают цветущие луга. Вы видите цветы, сад, пруд и фонтан. Между кустами гуляют павлины. А ковер – вещь долговечная, хороший ковер сохранит цвет на века. И, таким образом, живя на выжженной, пустынной земле, вы оказываетесь в саду, вечном и никогда не теряющем ни цвета, ни свежести. А еще можно вообразить, что сад пахнет, можно услышать журчание ручья и пение птиц. И тогда вы чувствуете себя хорошо, вы чувствуете себя избранным, вы на седьмом небе, вы – поэт».